

Задавать вопросы  
о жизни и смерти —  
это так в духе Пиколт.

*Parade*



РАССКАЗЧИЦА

РОМАН



ДЖОДИ  
ПИКОЛТ

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРОВ #1 ПО ВЕРСИИ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»

# Джоди Пиколт

## Рассказчица

*текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67322810](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67322810)

*Рассказчица: Азбука-Аттикус; СПб; 2022*

*ISBN 978-5-389-21092-9*

### Аннотация

После трагического происшествия, оставившего у нее глубокий шрам не только в душе, но и на лице, Сейдж стала сторониться людей. Ночью она выпекает хлеб, а днем спит. Однажды она знакомится с Джозефом Вебером, пожилым школьным учителем, и сближается с ним, несмотря на разницу в возрасте. Сейдж кажется, что жизнь наконец-то дала ей шанс на исцеление. Однако все меняется в тот день, когда Джозеф доверительно сообщает о своем прошлом. Оказывается, этот добрый, внимательный и застенчивый человек был офицером СС в Освенциме, узницей которого в свое время была бабушка Сейдж, рассказавшая внучке о пережитых в концлагере ужасах. И вот теперь Джозеф, много лет страдающий от осознания вины в совершенных им злодеяниях, хочет умереть и просит Сейдж простить его от имени всех убитых в лагере евреев и помочь ему уйти из жизни. Но дает ли прошлое право убивать?

Захватывающий рассказ о границе между справедливостью и милосердием от всемирно известного автора Джоди Пиколт.

# Содержание

Часть первая	9
Сейдж	9
Лео	113
Сейдж	142
Джозеф	167
Конец ознакомительного фрагмента.	173

# Джоди Пиколт

## Рассказчица

© Е. Л. Бутенко, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Агтикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*Моей матери, Джейн Пиколт, потому что ты научила меня: нет ничего важнее семьи. И потому, что спустя двадцать лет снова наступила твоя очередь*

*Отец доверительно обсуждал со мной свою кончину.*

*– Аня, – говорил он, – чтоб на моих похоронах никакого виски. Пусть будет самое лучшее вино из ежевики. И ни капли слез, запомни. Только танцы. А когда меня опустят в землю, хочу, чтобы зазвучали фанфары и полетели белые бабочки.*

*Личность – вот какой был у меня отец. Деревенский пекарь, он каждый день в придачу к хлебам, которые выпекал для жителей деревни, пек булочку для меня – особенную и самую вкусную, свернутую в кольцо и похожую на корону принцессы, в тесто отец добавлял сладкую корицу, шоколад*

и один секретный ингредиент – свою любовь ко мне (так говорил он сам), и ничего вкуснее я в жизни не ела.

Мы жили на окраине деревни, такой маленькой, что все знали друг друга по именам. Наш дом с соломенной крышей был сложен из речных камней; печь, в которой отец пек хлеб, прогревала его целиком. Я частенько сидела за кухонным столом и лушила горох, который выращивала сама в маленьком садике позади дома, а отец открывал заслонку кирпичной печи, засовывал внутрь пекарскую лопату и вынимал круглые румяные караваи. Свет мерцающих углей подсвечивал мышцы его рук и спины, рельефно выделявшиеся под пропитанной потом рубахой.

– Я не хочу, чтобы меня хоронили летом, Ания, – говорил он. – Постарайся, чтобы я умер в прохладный день, когда дует свежий ветерок. Пока птицы не улетели на юг, пусть споют для меня.

Я притворялась, что беру на заметку его просьбы. Меня не пугали такие мрачные разговоры; отец казался мне слишком здоровым и сильным, чтобы я могла поверить, будто эти его просьбы когда-нибудь придется выполнять. Некоторые жители деревни находили наши отношения с отцом странными – как можно шутить о таких вещах? – но мать моя умерла, когда я была маленькой, и у нас никого больше не было: у меня – он, а у него – я.

Проблемы начались в тот день, когда мне исполнилось восемнадцать. В последнее время фермеры не раз жало-

вались на неприятные происшествия: они шли покормить свою птицу и обнаруживали в курятниках только окровавленные перья, будто разметанные взрывом, или находили в коровниках телят, едва ли не вывернутых наизнанку, а вокруг останков уже жужжали мухи.

– Лиса, – рассуждал сборщик налогов Барух Бейлер; он жил в роскошном доме в конце главной деревенской площади, который напоминал украшение на груди королевской особы. – Или лесной кот. Платите, что полагается, и взамен вам обеспечат защиту.

Однажды Бейлер пришел к нам, когда мы были к этому не готовы – я имею в виду, не забаррикадировали дверь и не затушили огонь, чтобы все выглядело так, будто нас нет дома. Отец месил тесто и лепил хлеба в форме сердечек, как всегда делал в мой день рождения, чтобы жители деревни знали: сегодня особенный день. Барух Бейлер вошел в кухню, поднял свою палку с золотым набалдашником и ударил ею по рабочему столу. Мука облаком взвилась в воздух, а когда осела, я посмотрела на кусок теста в руках отца, на это разбитое сердце.

– Прошу вас, – сказал отец, который никогда ни о чем не просил. – Я помню о своем обещании. Но дела идут неважно. Если бы вы дали мне еще немного времени...

– Ты просрочил платеж, Эмиль, – прорывчал Бейлер. – Я беру в залог эту крысиную нору. – Он нагнулся вперед, и впервые в жизни я усомнилась в непобедимости отца. – Посколь-

ку я щедрый человек, великодушный человек, то даю тебе срок до конца недели. Но если ты не найдешь денег, ну, я могу сказать, что тогда будет. – Он поднял палку и скользким движением провел по ней рукой, как по клинку. – Тут в последнее время было столько... неприятностей.

– Вот почему у нас так мало покупателей, – тоненьким голоском пропищала я. – Люди не ходят на рынок, потому что боятся зверя.

Барух Бейлер повернулся, будто только сейчас заметил мое присутствие. Он окинул меня пристальным взглядом – от заплетенных в косу темных волос до кожаных башмаков, дырки на которых были залатаны кусками прочной ткани. Меня пробрала дрожь, но не такая, как от взгляда Дамиана, начальника стражи, когда я шла по деревенской площади, а он смотрел на меня, будто кот на сливки. Нет, взгляд Баруха был более торгошеским, словно он пытался оценить, сколько я могу стоить.

Бейлер протянул руку поверх моего плеча к стойке с полками из металлической сетки, где остывали недавно испеченные хлебы, взял один, в форме сердца, и сунул себе под мышку.

– Обеспечение кредита, – заявил он и вышел из дома, оставив дверь нараспашку просто потому, что мог себе это позволить.

Отец проводил его взглядом и пожал плечами. Взял в руки следующий кусок теста и начал формировать его.

– Не обращай внимания. Мелкая сошка, а изображает из себя невесть что. Когда-нибудь я спляшу джигу на его могиле. – Потом он повернулся ко мне, улыбка смягчила его лицо. – Кстати, Ания, чуть не забыл: я хочу, чтобы на моих похоронах была процессия. Сперва дети, пусть разбрасывают лепестки роз. Потом самые красивые женщины с зонтиками от солнца, разрисованными так, что похожи на цветы из оранжереи. Потом – мой катафалк, который тянут четыре – нет, пять снежно-белых лошадей. А замыкает процессию Барух Бейлер, который подбирает с дороги навоз. – Отец откинул назад голову и расхохотался. – Если, конечно, он не умрет первым. Лучшие раньше, чем позже.

Отец делился со мной подробностями своего ухода... но в конце концов я опоздала.

# Часть первая

*Невозможно поверить в существование в мире того, что перестало считать человека человеком.*  
*Симон Визенталь. Подсолнух*

## Сейдж

Каждый второй четверг месяца миссис Домбровски приносит на встречу нашей психотерапевтической группы своего покойного мужа.

Сейчас только что перевалило за 3 часа дня, и большинство из нас наливают себе дрянной кофе в бумажные стаканчики. Я принесла блюдо с выпечкой – на прошлой неделе Стюарт сказал, что приходит на занятия в «Руку помощи» не для того, чтобы проконсультироваться по поводу своей неизбывной скорби, а ради моих кексов с пеканом, – и вот в тот момент, когда я ставлю их на стол, миссис Домбровски робко кивает на урну, которую держит в руках.

– Это, – говорит она мне, – это Херб. Херби, познакомься с Сейдж. Я тебе о ней рассказывала, она – пекарь.

Я обмираю и, как обычно, наклоняю голову, чтобы волосы прикроли левую часть лица. Уверена, существуют особые правила для знакомства с кремированным супругом, но я

что-то не могу их вспомнить. Наверное, нужно сказать «привет»? Пожать его ручку?

– Вау! – наконец произношу я, потому как в нашей группе особых правил немного, но те, что есть, очень твердые: слушай внимательно, не осуждай и не определяй границ чужого горя. Мне эти правила известны лучше всех. Как-никак я хожу сюда уже почти три года.

– Что ты принесла? – спрашивает миссис Домбровски, и я понимаю, почему она взяла с собой урну с прахом мужа.

На прошлой встрече наша ведущая – Мардж – предложила поделиться воспоминанием о какой-нибудь своей утрате. Я вижу, что Шейла прижимает к груди пару розовых вязаных пинеток так крепко, что у нее побелели костяшки пальцев. Этель держит в руке пульт от телевизора. Стюарт – опять – притащил бронзовую посмертную маску своей первой жены. Она уже несколько раз появлялась в нашей группе, и это самая жуткая вещь, какую я видела, – до сего дня, когда миссис Домбровски взяла с собой Херба.

Прежде чем я успеваю, заикаясь, что-нибудь ответить, Мардж призывает нашу маленькую группу собраться. Мы расставляем складные стулья в кружок, достаточно близко один к другому, чтобы иметь возможность похлопать соседа по плечу или протянуть руку в знак поддержки. В центре стоит коробка с бумажными салфетками, которые Мардж приносит на каждую встречу, так, на всякий случай.

Часто Мардж начинает с глобального вопроса: «Где вы

были 11 сентября 2001 года?» Тогда люди принимаются обсуждать общую трагедию, и после этого им становится легче говорить о своей личной. Несмотря на это, всегда находят-ся те, кто молчит. Иногда проходят месяцы, прежде чем я узнаю, как звучит голос нового участника группы.

Правда, сегодня Мардж сразу спрашивает о памятных вещах, которые мы принесли. Этель поднимает руку.

– Это принадлежало Бернарду, – говорит она, поглаживая пульт большим пальцем. – Я не хотела, чтобы так было. Бог знает, я пыталась забрать у него эту штуку тысячу раз. У меня теперь даже нет телевизора, к которому она подходит. Но я никак не могу ее выбросить.

Муж Этель еще жив, но у него болезнь Альцгеймера, и он не узнает свою жену. Люди страдают от всевозможных утрат – крупных и совсем незначительных. Вы можете потерять ключи, очки, девственность. Вы можете потерять голову, остаться без сердца, утратить разум. Вы можете покинуть свой дом и отправиться в дом престарелых, или ваш ребенок переедет за океан, или ваш супруг растворится в деменции. Утрата – это не только смерть, и горе – это тайный трансформатор эмоций.

– Мой муж забирает пульт себе, – говорит Шейла. – Говорит, мол, это потому, что все остальное уже прибрали к рукам женщины.

– На самом деле это инстинкт, – встревает Стюарт. – В мозгу мужчин область, отвечающая за контроль над терри-

торией, больше, чем у женщин. Я слышал это в одной передаче Джона Теша.

– Значит, это истина в последней инстанции? – Джослин выкатывает глаза.

Как и мне, ей немного за двадцать. В отличие от меня, у нее не хватает терпения на людей, которым за сорок.

– Спасибо, Этель, что вы поделились с нами своим воспоминанием, – быстро вмешивается Мардж. – Сейдж, что вы принесли сегодня?

Все оборачиваются ко мне, и я чувствую, как кровь приливает к щекам. Хотя я знаю всех в группе и мы сформировали круг доверия, мне все равно трудно раскрываться и пускать их в свою душу. Кожа на моем шраме, расплзшемся морской звездой по левому веку и щеке, натягивается сильнее обычного.

Я стряхиваю на глаза длинную челку и вытаскиваю из-под топа висящее на цепочке обручальное кольцо матери, которое всегда на мне.

Разумеется, я понимаю, почему через три года после смерти мамы я словно получаю скользкий удар мечом по ребрам каждый раз, как подумаю о ней. По той же причине из своей группы скорбящих я единственная до сих пор здесь. Большинство людей приходят сюда за помощью, я – ради наказания.

Джослин поднимает руку:

– У меня серьезная проблема с этим. – (Я краснею еще

сильнее. Неужели это она обо мне? Но затем понимаю, что Джослин косится на урну, лежащую на коленях у миссис Домбровски.) – Это отвратительно! – восклицает Джослин. – Нам не предлагали приносить с собой что-то мертвое. Мы должны были принести память.

– Он не что-то, он кто-то, – вступается за мужа миссис Домбровски.

– Мне бы не хотелось, чтобы меня кремировали, – задумчиво произносит Стюарт. – Мне иногда снятся кошмары, где я гибну в огне.

– Экстренная новость: вы уже мертвы, когда вас бросают в огонь, – язвит Джослин, и миссис Домбровски раздражается слезами.

И я передаю ей коробку с салфетками. Пока Мардж – по-доброму, но твердо – напоминает Джослин о принятых в группе правилах, я иду в уборную в конце коридора.

Я выросла в убеждении, что утраты ведут к позитивным результатам. По словам мамы, именно так она встретила любовь всей своей жизни: однажды оставила в ресторане кошелек, его нашел повар, готовивший соусы, и отыскал хозяйку. Когда он позвонил ей, ее не было дома и трубку взяла соседка по комнате. А когда моя мама перезвонила по оставленному номеру, то ей ответила какая-то женщина и позвала к телефону моего будущего отца. Они встретились, чтобы он вернул маме кошелек, и она поняла, что в нем есть все, о чем только можно мечтать, но... ей также было известно, что он

жил с какой-то женщиной.

Которая оказалась... его сестрой!

Отец умер от сердечного приступа, когда мне было девятнадцать, и смириться с утратой матери через три года после ухода отца я могла, только сказав себе: она теперь снова с ним.

В туалете я убираю волосы с лица.

Шрам серебрится, рюшем вьется по щеке и по лбу, похожий на стянутую шнурком горловину шелкового мешочка. За исключением того, что одно веко у меня слегка опущено – кожа слишком сильно натянута, – вы, вероятно, с первого взгляда ничего и не заметите, по крайней мере, так говорит моя подруга Мэри. Но люди замечают. Они просто слишком вежливы, а потому ничего не говорят, если им больше четырех лет и они уже успели утратить брутальную честность, которая раньше позволяла им тыкать в меня пальцем и спрашивать маму: что у этой тети с лицом?

Хотя рана моя зажила, я все еще вижу ее такой, какой она была сразу после аварии, – кровавой зубчатой молнией, нарушившей симметрию моего лица. В этом, полагаю, я похожа на девушку с расстройством пищевого поведения: она весит сорок пять килограммов, но видит толстуху, глядящую на нее из зеркала. На самом деле для меня это даже не шрам. Это карта того места, где моя жизнь пошла наперекосяк.

Выходя из уборной, я едва не сбиваю с ног какого-то старика. Я достаточно высокого роста, чтобы сквозь ураганные

завихрения седых волос видеть его розовый скальп.

– Опять я опоздал, – говорит он по-английски с акцентом. – Потерялся.

Полагаю, все мы такие. Затем и приходим сюда: чтобы не потерять связь с утраченным.

Этот мужчина – новичок в группе скорби; он ходит к нам всего две недели и еще не произнес ни слова во время сессий. И все же я с первого взгляда узнала его, только не могла понять, откуда он мне знаком.

Теперь я вспоминаю. Пекарня. Он часто приходит туда с собакой, маленькой таксой, и заказывает свежую булочку с маслом и черный кофе. Целыми часами он пишет что-то в черном блокноте, а собака дремлет у его ног.

Когда мы заходим в комнату, Джослин рассказывает о своей памятной вещи и демонстрирует что-то вроде изгрызенной бедренной кости.

– Это игрушка Лолы, – говорит она, мягко поворачивая обглоданную кость в руках. – Я нашла ее под диваном, после того как мы усыпили Лолу.

– Зачем вообще вы здесь?! – взрывается Стюарт. – Это была всего лишь чертова собака!

Джослин прищуривается:

– По крайней мере, я не отлила ее в бронзе.

Они начинают спорить, когда мы со стариком устраиваемся в кругу. Мардж использует это как отвлекающий маневр.

– Мистер Вебер, – говорит она, – добро пожаловать! Джо-

слин только что рассказала нам, как много значила для нее собака. У вас когда-нибудь был любимый домашний питомец?

Я думаю о таксе, которую старик приводит с собой в пекарню. Он делится с ней булочкой, поровну.

Однако мистер Вебер молчит. Он склоняет голову, как будто его придавили к стулу. Мне знакома эта поза, это желание скрыться с глаз.

– Можно любить домашнее животное больше, чем некоторых людей, – вдруг говорю я, что меня саму удивляет. Все оборачиваются, потому что в отличие от них я почти никогда не привлекаю к себе внимания, вызываясь что-нибудь сказать. – Не важно, что оставляет дыру у вас в душе. Важно, что она там есть.

Старик медленно поднимает глаза. Сквозь завесу челки я ощущаю жар его взгляда.

– Мистер Вебер, – говорит Мардж, все замечая, – может быть, вы принесли какую-нибудь памятную вещь, чтобы поделиться с нами сегодня?

Он качает головой, его голубые глаза ничего не выражают. Мардж позволяет его молчанию длиться и длиться; оно как приношение на алтаре. Мне понятно поведение старика, потому что некоторые люди приходят сюда поговорить, тогда как другие – лишь послушать. Отсутствие звуков пульсирует в воздухе, как биение сердца. Оно оглушает.

В этом парадокс утраты: как может то, что ушло, так силь-

но отягощать нас?

На исходе часа Мардж благодарит нас за участие, мы складываем стулья, выбрасываем в мусорную корзину бумажные тарелки и салфетки. Я упаковываю оставшиеся маффины и отдаю их Стюарту. Отнести их обратно в пекарню – все равно что притащить ведро воды к Ниагарскому водопаду. Потом выхожу на улицу, чтобы вернуться на работу.

Если бы вы прожили в Нью-Гэмпшире всю жизнь, как я, то ощущали бы по запаху изменения погоды. Стоит удушающая жара, но на небе невидимыми чернилами написано, что будет гроза.

– Простите.

Я оборачиваюсь на звук голоса мистера Вебера. Он стоит спиной к епископальной церкви, где мы собираемся. Хотя на улице не меньше тридцати пяти градусов, на старике рубашка с длинным рукавом, застегнутая под самое горло, и узкий галстук.

– Хорошо, что вы вступились за ту девушку.

Он говорит со странным акцентом.

Я отвожу глаза:

– Спасибо.

– Вы Сейдж?<sup>1</sup>

Ну, это вопрос не меньше, чем на шестьдесят четыре тысячи долларов<sup>2</sup>. Да, меня так зовут, но значение этого имени

---

<sup>1</sup> Одно из значений имени *Сейдж* – «мудрец». – *Здесь и далее примеч. перев.*

<sup>2</sup> Отсылка к игре «Кто хочет стать миллионером».

– якобы я такая мудрая – никогда ко мне не относилось. В моей жизни было слишком много моментов, когда я едва не слетала с рельсов, поддаваясь эмоциям и не слушая голоса разума.

– Да, – отвечаю я.

Неловкая тишина разбухает между нами, как тесто на дрожжах.

– Эта группа. Вы давно сюда ходите.

Я не знаю, стоит ли мне защищаться?

– Да.

– Значит, по-вашему, это полезно?

Если бы это шло на пользу, я бы уже перестала сюда ходить.

– Они все очень милые люди, правда. Каждый временами думает, что его горе горше, чем у других.

– Вы мало говорите, – задумчиво произносит мистер Вебер. – Но когда начинаете... вы поэт.

– Я пекарь, – качаю я головой.

– Разве нельзя быть тем и другим одновременно? – спрашивает он и медленно уходит.

Я вбегаю в пекарню, красная, запыхавшаяся, и вижу своего босса, свешивающегося с потолка.

– Прости за опоздание, – говорю я. – В храме было полно народа, и какой-то болван на «эскаладе» занял мое место.

Мэри устроила себе строительные леса в стиле Микелан-

джело, чтобы красить потолок пекарни, лежа на спине.

– Этот болван наверняка епископ, – отвечает она. – Он остановился тут по пути в горы. Сказал, что твой оливковый хлеб бесподобен, а это довольно высокая похвала, особенно из его уст.

В прошлой жизни Мэри Деанджелис была сестрой Мэри Роберт. Она имела страсть к садоводству и была известна тем, что следила за садом в своем монастыре в Мэриленде. Однажды на Пасху, когда священник возгласил: «Христос воскрес!» – она вдруг встала со скамьи и вышла из собора. Сестра Мэри покинула орден, выкрасила волосы в розовый цвет и пошла по Аппалачской тропе. Где-то на Президентском хребте Иисус предстал перед ней в видении и сказал, что есть много душ, которые нужно кормить.

Шесть месяцев спустя Мэри открыла пекарню «Хлеб наш насущный» у подножия горы, где расположено святилище Богородицы Милосердия в Вестербруке, штат Нью-Гэмпшир. Святилище занимает шестнадцать акров земли, там есть пещера для медитации, Ангел мира, Крестный путь и Святая лестница. Имеется и магазин, полный крестов, распятий, книг о католицизме и теологии, CD-дисков с христианской музыкой, медальонов со святыми и миниатюрных рождественских пещер фирмы «Фонтанини». Но паломники обычно приходят сюда полюбоваться семисотпятидесятифутовыми четками, сделанными из нью-гэмпширских гранитных валунов, которые соединены друг с другом цепями.

Это святилище было популярным в теплую погоду, однако новоанглийскими зимами бизнес драматическим образом сходил на нет. Это натолкнуло Мэри на коммерчески здравую мысль: что может быть более мирским и вневременным, чем свежеиспеченный хлеб? Почему бы не повесить доходы святилища, открыв вдобавок ко всему пекарню, которая привлечет и верующих, и неверующих?

Одна загвоздка – она понятия не имела, как печь хлеб.

Тут и появилась я.

Печь хлеб мне пришлось начать в девятнадцать лет после внезапной смерти отца. Я тогда училась в колледже и поехала домой на похороны, а когда вернулась, обнаружила, что все не то и не так. Я смотрела на слова в учебниках и ничего не понимала, будто они написаны на чужом языке. Я не могла вытащить себя из постели и пойти на занятия. Провалила сперва один экзамен, а потом и второй. Перестала сдавать контрольные работы. А однажды среди ночи проснулась в своей комнате в общежитии и почувствовала запах муки – такой сильный, будто я валялась в ней. Я приняла душ, но не могла избавиться от запаха. Это напомнило мне воскресные утра в детстве, когда я просыпалась от аромата только что испеченных отцом рогаликов и булочек с луком.

Он не раз пытался обучить моих сестер и меня своему ремеслу, но мы были слишком заняты школой, хоккеем на траве и мальчишками, чтобы слушать его. По крайней мере, я так думала, пока не начала каждую ночь тайком пробираться на

кухню в столовой колледжа и печь хлеб.

Плоды своих трудов я оставляла, как подкидышей, у дверей кабинетов преподавателей, которыми восхищалась, и мальчиков, улыбки которых были столь прекрасны, что, глядя на них, я столбенела и не могла рта раскрыть от смущения. Последнюю порцию булочек из дрожжевого теста я оставила на кафедре в лекционном зале, а хлеб сунула в огромную сумку работницы кафетерия, которая по утрам совала мне тарелки с оладьями и беконом, говоря, что я слишком худенькая. Когда моя научная руководительница сказала, что я не успеваю по трем из четырех изучаемых предметов, мне нечего было возразить, но я дала ей медовый багет с анисом, горьким и сладким.

Однажды вдруг приехала мама. Она обосновалась у меня в общежитии и устроила микроменеджмент моей жизни – от проверки, хорошо ли я питаюсь, до сопровождения меня на занятия и опросов на понимание материала, заданного для самостоятельной работы.

– Если я не собираюсь сдаваться, – сказала мне она, – то и ты не сдашься.

Я подчистила хвосты, перешла на пятилетний курс обучения, но все-таки защитила диплом. Моя мать встала и громко свистнула сквозь зубы, когда я шла по сцене, чтобы его получить. А потом все полетело к черту.

Я много думала об этом: как можно отлететь рикошетом с вершины мира, на которую вы долго и упорно взбирались, к

ее подножию и беспомощно копошиться там? Я размышляла обо всех тех вещах, которые могла бы сделать иначе, и о том, привело бы это к другим результатам или нет. Но раздумьями ничего не изменишь, верно? А потому, когда глаз мой все еще был залит красным и франкенштейновский уродливый шов, как на бейсбольном мяче, косою дугой растянулся по щеке и виску, я дала матери такой же совет, какой получила от нее: «Я не собираюсь сдаваться, а значит, и ты не сдавайся».

Она не сдавалась, сперва. Это заняло почти шесть месяцев, одна система организма отказывала вслед за другой. Каждый день я сидела у ее постели в больнице, а на ночь уходила домой отдыхать. Только я не отдыхала. Вместо этого я снова начала печь – моя трудотерапия. Я приносила домашний хлеб ее докторам, готовила сухие крендели с солью для медсестер. Матери я пекла ее любимые рулетики с корицей, густо посыпанные сахарной пудрой. Я делала их каждый день, но она ни разу и кусочка не откусила.

Мардж – ведущая группы скорби – предложила мне устроиться на работу, чтобы создать видимость какого-то порядка в жизни. «Изображай, что порядок есть, пока он не появится», – сказала она. Но я не могла вынести мысли о работе среди людей, где все будут пялиться на мое лицо. Я и раньше была стеснительная, а после аварии совсем замкнулась в себе.

По словам Мэри, это божественное вмешательство, что

она нашла меня. (Себя Мэри называет выздоравливающей монахиней, хотя на самом деле рясу-то она сняла, но от веры не отказалась.) Что до меня, я в Бога не верю; думаю, это было чистой удачей, что первая же статья в журнале, которую я прочла, выслушав предложение Мардж, включала в себя объявление о поиске опытного пекаря, который будет работать по ночам, один, и уходить домой с появлением в магазине покупателей. На собеседовании Мэри и словом не обмолвилась об отсутствии у меня опыта, практики летних подработок и рекомендаций. Но важнее всего, что, мельком взглянув на мой шрам, она сказала: «Полагаю, когда ты захочешь рассказать мне, что случилось, то сделаешь это». И все. Позже, узнав ее получше, я поняла, что, выращивая растения, она не смотрит на семена, а сразу рисует в голове, что из них получится. Наверное, ко мне она отнеслась так же.

Я работала в «Хлебе нашем насущном», и единственной спасительной благодатью для меня (я не шучу) было то, что мать этого не видела, она не дожила. Они с отцом оба были иудеями. Мои сестры Пеппер и Саффрон обе прошли обряд бат-мицва<sup>3</sup>. Хотя мы продавали бейгели и халы наряду с булочками в виде крестов, хотя кофейня при пекарне называлась «Хибруз»<sup>4</sup>, я точно знаю, что мать сказала бы: «Поче-

---

<sup>3</sup> *Бат-мицва* – обряд религиозного совершеннолетия для еврейских девочек; совершается в возрасте 12 лет.

<sup>4</sup> В названии кофейни для Сейдж заключена игра смыслов, основанная на омонимии слова «*hebrews*» (евреи) и словосочетания «*He Brews*» (букв.: «Он заваривает»); «Он» с прописной буквы в христианских текстах относится к Христу или

му из всех пекарен в мире ты выбрала ту, хозяйка которой шикса?»<sup>5</sup>

Но моя мать также была бы первой, кто сказал бы мне, что хорошие люди – это хорошие люди и религия тут ни при чем. Думаю, моя мама, где бы она сейчас ни находилась, знает, сколько раз Мэри заставляла меня на кухне в слезах и не открывала пекарню, пока не приведет меня в норму. Думаю, маме известно, что в годовщину ее смерти Мэри жертвует все заработанные пекарней деньги Хадассе<sup>6</sup>. И что Мэри – единственный человек, от которого я не пытаюсь активно скрывать свой шрам. Она не только работодатель, но и лучшая подруга, а потому мне нравится верить, что для моей мамы это значило бы больше, чем то, в каком храме Мэри молится Богу.

Крупная капля фиолетовой краски падает на пол у моих ног, заставляя меня поднять взгляд. Мэри рисует еще одно из своих видений. Они случаются у нее с неустойчивой регулярностью – раза три в год – и обычно ведут к каким-нибудь изменениям в устройстве нашего заведения или в ассортименте. Кофе-бар привиделся Мэри, так же как и окно-оранжерея с рядом изысканных орхидей, у которых цветы нанизаны на стебли, будто жемчужины на нитку, поверх толстых ярко-зеленых листьев. В одну зиму Мэри открыла при «Хле-

---

к Господу.

<sup>5</sup> Шикса – нееврейка.

<sup>6</sup> Хадасса – американская женская сионистская организация.

бе нашем насущном» кружок вязания; на следующий год – класс йоги. «Голод, – часто говорит она мне, – не имеет ничего общего с желудком, он сидит в голове». То, чем управляет Мэри, на самом деле не пекарня, а община.

Некоторые из афоризмов Мэри написаны краской на стенах: «Ищите и найдете», «Странствующие не заблуждаются», «Счет идет не годам вашей жизни, а жизни в ваших годах». Иногда я размышляю, действительно ли Мэри сама выдумывает эти банальности или просто вспоминает бойкие фразы с футболок из серии «Жизнь – хорошая штука». Думаю, это не слишком важно.

Сегодня Мэри выводит на потолке свою последнюю мантру: «All you knead is love»<sup>7</sup>, – читаю я.

– Как тебе? – спрашивает Мэри.

– Йоко Оно подаст на тебя в суд за нарушение авторских прав, – отвечаю я.

Рокко, наш бариста, вытирает стойку.

– Леннон бесподобен, – говорит он. – Если бы он был жив. / Только «Представьте»<sup>8</sup>.

Рокко двадцать девять, у него до времени поседевшие дреды, и выражается он исключительно японскими хайку. Это его «фишка», как он объяснил Мэри, когда пришел на

---

<sup>7</sup> «Все, что вы месите, – это любовь»; аллюзия на песню «Битлз» «All you need is love» – «Все, что вам нужно, – это любовь»; по-английски *knead* и *need* произносятся одинаково.

<sup>8</sup> Рокко намекает на известную песню Джона Леннона «Imagine».

собеседование, чтобы получить работу. Она охотно закрыла глаза на этот маленький вербальный тик нового баристы из-за его непревзойденного таланта в искусстве создания молочной пены – разрисованных завихряющихся шапок на латте и моккачино. Рокко может изобразить листья папоротника, сердечки, единорогов, Леди Гагу, паутину, а однажды на день рождения Мэри нарисовал папу Бенедикта XVI. Мне Рокко нравится из-за другой его «фишки»: он не смотрит людям в глаза. Говорит, так у тебя могут украсть душу.

Аминь.

– Кончились багеты, – продолжает Рокко. – Дал злым людям кофе даром. – Он делает паузу, мысленно считая слоги. – К вечеру сделай еще.

Мэри начинает слезать со своих лесов.

– Как прошла встреча?

– Обычно. Тут весь день было так тихо?

Мэри соскакивает на пол с мягким глухим стуком.

– Нет, мы пережили набег детсадовцев и бойкий ланч. – Распрямив ноги, она вытирает руки о джинсы, идет за мной на кухню и говорит: – Кстати, Сатана звонил.

– Дай-ка я догадаюсь. Ему нужен торт на день рождения по спецзаказу для Джозефа Кони?<sup>9</sup>

– Под Сатаной, – говорит Мэри, будто не слышала меня, –

---

<sup>9</sup> *Джозеф Кони* (р. 1961) – предводитель Господней армии сопротивления, стремящийся создать в Уганде теократическое государство; объявил себя воплощением Святого Духа.

я имею в виду Адама.

Адам – мой парень. Хотя нет, ведь он к тому же чей-то муж.

– Адам не так уж плох.

– Он сексуален, Сейдж, и эмоционально деструктивен.

Если башмак впору... – Мэри пожимает плечами. – Оставлю Рокко закрывать амбразуру, а сама пойду в святилище и немного повоюю с сорняками. Хосты затеяли переворот.

Хотя она больше там не работает, кажется, никто не возражает против того, чтобы бывшая монахиня, любящая ухаживать за растениями, поддерживала цветы и деревья в хорошей форме. Уход за садом – в поту, с мачете, сапкой и лопатой – для Мэри релаксация. Иногда мне кажется, что она вообще никогда не спит, а живет за счет фотосинтеза, как ее любимые растения. И при этом действует энергичнее и быстрее, чем все остальные обычные смертные; на ее фоне и фея Динь-Динь из «Питера Пэна» покажется ленивцем.

– Развлекайся, – говорю я, завязывая на себе передник и фокусируясь на вечерней работе.

В пекарне у меня есть гигантский спиральный миксер, потому что я замешиваю много теста сразу. Закваски для разных температур хранятся в аккуратно подписанных канистрах. Я использую электронные экселевские таблицы, чтобы рассчитывать процентные соотношения ингредиентов, и у меня всегда выходит, что сумма превышает сто процентов. Какая-то сумасшедшая математика! Но больше всего я люб-

лю печь, используя только миску, деревянную ложку и четыре элемента: муку, воду, дрожжи и соль. Тогда все, что мне нужно, – это время.

Выпекание хлеба похоже на спортивное состязание, оно требует не только беготни из одного места пекарни в другое, пока ты проверяешь, подошли ли хлебы, засыпаешь ингредиенты в чашу миксера, а потом тащишь ее к разделочному столу, оно также заставляет прилагать мускульную силу, чтобы активировать глютен в тесте. Даже тот, кто не отличит опару с солью от бессолевой, знает: чтобы сделать хлеб, тесто нужно месить. Мять и катать, давить и складывать – заниматься ритмической гимнастикой на посыпанном мукой рабочем столе. Сделайте это правильно, и вы высвободите белок под названием глютен, длинные молекулы которого обеспечивают образование в тесте пузырей, заполненных углекислым газом. По прошествии семи-десяти минут – достаточный срок, чтобы вы успели мысленно составить список неотложных домашних дел или прокрутить заново в голове разговор с кем-то из близких и обдумать, что он на самом деле означал, – консистенция теста изменится. Оно станет гладким, упругим, однородным.

В этот момент нужно оставить его в покое. Глупо очеловечивать хлеб, но мне нравится, что ему нужно побыть в тишине, отдохнуть от касаний, шума и драм, чтобы преобразиться.

Должна признать, я сама часто чувствую то же самое.

Время творит странные вещи с мозгами пекаря. Когда твой рабочий день начинается в пять вечера и продолжается до зари, ты слышишь каждое тиканье минутной стрелки на часах над плитой, видишь движение каких-то теней во мраке. Не узнаешь эхо своего голоса и начинаешь думать, что, кроме тебя, никого на свете не осталось в живых. Я убеждена: не случайно бóльшая часть убийств совершается по ночам. Мир просто ощущается иначе теми, кто пробуждается с наступлением темноты. Он более хрупок и нереален, это копия того мира, в котором обитают все остальные.

Я прожила в ночном режиме так долго, что теперь мне совсем нетрудно ложиться в постель с восходом солнца и просыпаться, когда оно уже снова близится к горизонту. Обычно это означает, что я сплю всего часов шесть, прежде чем возвращаюсь в «Хлеб наш насущный», чтобы начать все сначала, но быть пекарем – значит принимать существование на краю жизни, что мне абсолютно подходит. Люди, с которыми я общаюсь, – это работники круглосуточных магазинов, кассиры из «Данкин донатс», обслуживающие водителей «с колес», работающие посменно медсестры. И Мэри с Рокко, конечно, которые закрывают пекарню вскоре после моего прибытия. Они запирают меня внутри, как королеву в «Румпельштильцхене», но не для того, чтоб я пересчитывала зерна, а чтобы превратила их до наступления утра в хлеб и булки, которыми наполнятся полки и стеклянные витрины.

Я никогда не отличалась особой общительностью, но теперь активно предпочитаю одиночество. Такой режим больше подходит мне: на работу я добираюсь сама; Мэри – лицо фирмы, она отвечает за разговоры с покупателями и делает так, чтобы им захотелось вернуться к нам. А я прячусь.

Выпекание хлеба для меня – форма медитации. Я получаю удовольствие от разрезания пухлых комков теста, скатывания полученных кусков в шары и взвешивания на весах, чтобы получился совершенный по форме и объему крестьянский хлеб. Мне нравится, как извивается змеей багет под моими руками, когда я раскатываю его. Я люблю слушать, как вздыхает поднявшийся хлеб, когда я начинаю его обминать. Мне весело от того, как поджимаются мои пальцы в сабо и вытягивается шея, когда я перегибаю пополам пласт теста. Мне приятно знать, что никто не позвонит и не оторвет меня от дела.

Я уже с головой погружена в изготовление ежевечерней стофунтовой партии продукции, когда Мэри возвращается со своей плантации и начинает закрывать магазин. Сполоснув руки над промышленным размером раковины, я стягиваю с головы шапочку, которой прикрываю волосы во время работы, и выхожу в торговый зал. Рокко застегивает молнию на мотоциклетной куртке. Сквозь витринные окна я вижу зарницу, аркой подсветившую сизое, как синяк, небо.

– Увидимся завтра, – говорит Рокко. – Если только мы не умрем во сне. / Что за путь пройти предстоит.

Я слышу лай и понимаю, что в пекарне кто-то есть. Единственный посетитель – это мистер Вебер из моей группы скорбящих со своей крошечной собачкой. Мэри сидит рядом с ним с чашкой чая в руках. Заметив меня, он с трудом привстает со стула и неуклюже кланяется:

– Здравствуйте еще раз.

– Ты знаешь Джозефа? – спрашивает Мэри.

Группа скорбящих – как анонимные алкоголики: нельзя никого выдавать без разрешения.

– Мы... встречались, – отвечаю я, стряхивая волосы вперед, чтоб занавесить лицо.

Такса на поводке подходит ко мне и лижет пятнышко от муки на моих брюках.

– Ева, – с укоризной произносит старик, – веди себя прилично!

– Ничего, – отвечаю я и с облегчением присаживаюсь на корточки, чтобы погладить собаку. Животные никогда не пялятся на меня.

Мистер Вебер продевает запястье в петлю на конце поводка и встает.

– Я задерживаю вас, не даю уйти домой, – извиняющимся тоном говорит он Мэри.

– Вообще нет. Мне приятно побыть с вами. – Она смотрит на чашку старика, все еще на три четверти полную.

Не знаю, что заставляет меня сказать то, что я говорю. Вообще-то, у меня много работы. Но начинается дождь, да не

просто дождь – настоящий ливень. На парковке стоят только «харлей» Мэри и «приус» Рокко, а это означает, что мистер Вебер либо пойдет домой пешком, либо поедет на автобусе.

– Вы можете подождать автобус здесь, – произношу я.

– О нет, – отвечает мистер Вебер. – Это будет навязчиво.

– Я настаиваю, – подключается Мэри.

Старик благодарно кивает и снова садится. Обхватывает руками чашку с кофе, а Ева растягивается у его левой ноги и закрывает глаза.

– Доброй ночи, – говорит мне Мэри. – Пеки от души.

Вместо того чтобы остаться с мистером Вебером, я иду вслед за Мэри в заднюю комнату, где она хранит свое байкерское обмундирование на случай дождя.

– Я не смогу убрать за ним.

– Ладно, – произносит Мэри, делая паузу в надевании кожаных штанов.

– Я не обслуживаю посетителей.

На самом деле, когда в семь утра я вываливаюсь из пекарни и вижу в магазине бизнесменов, покупающих бейгели, и домохозяек, сующих хлеб в хозяйственные сумки из переработанных материалов, то всегда немного удивляюсь тому, что за пределами моей промышленной кухни, оказывается, есть жизнь. Наверное, так ощущает себя пациент, которого после остановки сердца электрошоком вернули к жизни и сразу забросили в самую ее гущу – слишком много информации и сенсорная перегрузка.

– Ты сама предложила ему остаться, – напоминает Мэри.

– Я ничего о нем не знаю. Вдруг он попытается обокрасть нас? Или еще что похуже?

– Сейдж, ему за девяносто. Думаешь, он способен перегрызть тебе горло своими зубными протезами? – Мэри качает головой. – Джозеф Вебер ближе всех к тому, чтобы его канонизировали при жизни. В Вестербруке его все знают: он был детским тренером по бейсболу, организовал уборку Риверхед-парка, преподавал немецкий в старшей школе зиллион лет. Он для всех как милый приемный дедушка. Не думаю, что он тайком проберется на нашу кухню, подкрадется к тебе со спины и вонзит в тебя нож.

– Никогда о нем не слышала, – бурчу я себе под нос.

– Это потому, что ты живешь, как в норе, – говорит Мэри.

– Или на кухне.

Когда спишь весь день, а ночью работаешь, у тебя нет времени на газеты и телевизор. Об убийстве Усамы бен Ладена я узнала через три дня.

– Доброй ночи. – Мэри наскоро обнимает меня. – Джозеф безобиден. Правда. Самое худшее, что он может сделать, – заговорить тебя до смерти.

Я смотрю, как она открывает заднюю дверь пекарни, пригибает голову под натиском ливня и, не оглядываясь, машет мне рукой. Я затворяю дверь и щелкаю замком.

К моменту, когда я возвращаюсь в пекарню, кружка мистера Вебера пуста, а собака сидит у него на коленях.

– Простите, – говорю я. – Рабочие вопросы.

– Вы не обязаны развлекать меня. Я знаю, у вас много дел.

Мне нужно сформовать сотню хлебов, обварить кипятком бейгели, наполнить начинкой биали. Да, можно сказать, что я занята. Но к собственному удивлению, я слышу свой ответ:

– Они могут подождать пару минут.

Мистер Вебер указывает рукой на покинутый Мэри стул:

– Тогда прошу вас. Садитесь.

Я сажусь, поглядывая на часы. Через три минуты срабатывает таймер, тогда мне придется вернуться на кухню.

– Ну... видимо, нам придется переждать погоду.

– Мы всегда этим занимаемся, – отвечает мистер Вебер.

Слова его звучат так, будто он отрывает их от струны: четко, резко. – Но сегодня нам предстоит переждать *плохую* погоду. – Он смотрит на меня. – Что привело вас в группу скорби?

Я встречаюсь с ним взглядом. В группе у нас существует правило: мы не обязаны делиться своей проблемой, если не готовы. Очевидно, что мистер Вебер сам к этому не готов, и с его стороны нетактично просить другого человека сделать то, чего сам он делать не желает. Но ведь мы с ним сейчас не в группе.

– Моя мать... – И я повторяю то, что сказала всем скорбящим: – Рак.

Старик сочувственно кивает.

– Сожалею о вашей утрате, – сухо произносит он.

– А вы? – спрашиваю я.

Он качает головой:

– Всего не перечесать. – (Я не знаю, как на это реагировать.

Моя бабушка всегда говорит, что она уже в том возрасте, когда ее приятели мрут как мухи. Думаю, для мистера Вебера это тоже верно.) – Вы давно печете хлеб?

– Несколько лет, – отвечаю я.

– Это необычная профессия для молодой женщины. Не предполагает общения.

Он что, не заметил, как я выгляжу?

– Она мне подходит.

– Вы отлично справляетесь.

– Хлеб может печь любой, – говорю я.

– Но не каждый сделает это хорошо.

С кухни раздается звонок таймера; он будит Еву, собака гавкает. Почти одновременно с этим витрины пекарни прорезает свет фар, к остановке подъезжает автобус.

– Спасибо, что позволили мне обождать здесь, – благодарит старик.

– Не за что, мистер Вебер.

Лицо его смягчается.

– Прошу вас, зовите меня Джозеф.

Он сует Еву под полу плаща и открывает зонтик.

– Возвращайтесь к нам поскорее, – говорю я, потому что знаю: так сказала бы Мэри.

– Завтра, – объявляет старик, будто мы договариваемся о

свидании.

Выходя из пекарни, он прищуривается от яркого света автобусных фар.

Несмотря на сказанное Мэри, я убираю его грязную чашку с тарелкой и при этом замечаю, что мистер Вебер – Джозеф – забыл свой маленький черный блокнот, в котором всегда что-то пишет, когда сидит здесь. Блокнот перехвачен резинкой.

Я хватаю его и выбегаю под ливень. Сразу плюхаюсь ногой в гигантскую лужу, вода наполняет мои сабо.

– Джозеф! – кричу я, волосы мигом облепляют голову. Он оборачивается, круглые глазки Евы выглядывают из-под полы его плаща. – Вы оставили это.

Я тяну вперед черную книжицу и иду к нему.

– Спасибо. – Старик быстро сует блокнот в карман. – Не знаю, что бы я без него делал. – Мистер Вебер наклоняет зонт, чтобы он прикрывал и меня тоже.

– Ваш великий американский роман? – высказываю я догадку.

С тех пор как Мэри установила бесплатный Wi-Fi в «Хлебе нашем насущном», заведение наполнилось людьми, которые мечтают о том, чтобы их писанину опубликовали.

У старика испуганный вид.

– О нет, что вы! Я просто записываю туда все свои мысли. Иначе они от меня ускользают. Если я не запишу, к примеру, что мне понравились ваши кайзеровские рулеты, то в следу-

ющий раз, когда приду, обязательно забуду их заказать.

– Думаю, многим людям было бы полезно использовать такие же книжечки.

Водитель автобуса дважды давит на гудок. Мы оба поворачиваемся на звук. Я морщусь, когда по моему лицу пробегают лучи света фар.

Джозеф хлопает себя по карману:

– Важно помнить.

Адам почти сразу сказал мне, что я хорошенькая, и это должно было натолкнуть меня на мысль, что он врун.

Я познакомилась с ним в один из худших дней своей жизни – в день смерти матери. Он был организатором похорон, моя сестра Пеппер нашла его. Смутно помню, как он объяснял нам, что и как будет происходить, и показывал разные гробы. Но впервые я по-настоящему заметила его, когда устроила сцену на церемонии прощания.

Мы с сестрами знали, что любимая песня мамы «Somewhere over the Rainbow». Пеппер и Саффрон хотели нанять профессионального певца, но у меня был другой план. Мама любила не просто эту песню, а конкретное ее исполнение. И я обещала ей, что на ее похоронах споет Джуди Гарленд.

– В новостях сообщали, Сейдж, – сказала Пеппер, – что Джуди Гарленд больше не принимает заказы, если ты не агент.

В конце концов сестры пошли у меня на поводу – в основном из-за того, что я преподнесла им эту идею как последнее желание мамы. Я должна была передать диск с записью организатору похорон – Адаму. Переписала песню с саундтрека к «Волшебнику из страны Оз» на iTunes. Когда церемония началась, Адам запустил ее через громкоговорители.

К несчастью, это оказалась не «Somewhere over the Rainbow», а песня манчкинов: «Дин-дон! Ведьма мертва».

Пеппер разрыдалась. Саффрон пришлось уйти, так она была расстроена. А я – я расхохоталась.

Не знаю почему. Смех просто выплеснулся из меня каскадом искр. И все, кто был в зале, вдруг уставились на меня – злые красные линии разделили пополам мое лицо, а изо рта вырывался неуместный хохот.

– Боже мой, Сейдж! – прошипела Пеппер. – Как ты можешь?

В панике, загнанная в угол, я встала с передней скамьи, сделала пару шагов и упала в обморок.

Очухалась я в кабинете Адама. Он стоял на коленях рядом с диваном и держал в руке влажное полотенце, которое прижимал прямо к моему шраму. Я немедленно отвернулась от него, прикрыв рукой левую часть лица.

– Знаешь, – сказал он, будто мы с ним вернулись к прерванной беседе, – в моей работе нет никаких секретов. Я знаю, кто делал пластическую операцию и кто пережил мастэктомию. У кого вырезали аппендикс, а кому оперировали

двойную грыжу. У человека может быть шрам, но это означает, что у него есть история. И, кроме того, – добавил он, – я не это заметил, когда впервые тебя увидел.

– Да, верно.

Он положил руку мне на плечо и продолжил:

– Я заметил, что ты хорошенькая.

У Адама песочного цвета волосы и медово-карие глаза. Его ладонь согревала мое плечо. Я никогда не была красавицей, даже до того, как все случилось, и разумеется, после этого тоже. Встряхнув головой, чтобы в мозгах прояснилось, я сказала:

– Я утром ничего не ела... Мне нужно вернуться туда.

– Успокойся. Я предложил сделать перерыв на пятнадцать минут. – Адам замялся. – Может, ты лучше возьмешь что-нибудь из плейлиста с моего айпода.

– Клянусь, я скачала ту песню, что надо. Сестры возненавидят меня.

– В моей практике случались вещи и похуже, – заметил Адам.

– Сомневаюсь.

– Однажды я видел, как пьяная любовница залезла в гроб покойнику, а его жена вытащила ее и нокаутировала.

Глаза у меня полезли на лоб.

– В самом деле?

– Ага. Так что это... – Он пожал плечами. – Мелочи.

– Но я засмеялась.

– Многие люди хохочут на похоронах, – сказал Адам. – Это оттого, что нам неуютно рядом со смертью, рефлекс срабатывает. Могу поспорить, твоя мама скорее обрадовалась бы тому, что вы провожаете ее со смехом, чем если бы застала тебя в слезах.

– Мама подумала бы, что это забавно, – прошептала я.

– Вот, возьми. – Адам протянул мне диск в конверте.

Я покачала головой:

– Оставь себе. Вдруг твоей клиенткой когда-нибудь станет Наоми Кэмпбелл.

Адам усмехнулся:

– Наверняка твоя мама и это тоже нашла бы забавным.

Через неделю после похорон он позвонил мне, чтобы узнать, как мои дела. Я решила, что это странно по двум причинам: во-первых, я никогда не слышала, чтобы похоронные бюро оказывали такого вида услуги, и во-вторых, нанимала его Пеппер, а не я. Я была так тронута вниманием Адама, что испекла ему по-быстрому рулет и по пути домой с работы отнесла в похоронное бюро. Я надеялась оставить свое приношение там, не встречаясь с Адамом, но он, как назло, оказался на месте.

Он спросил: есть ли у меня время выпить с ним кофе?

Вам следует знать, что даже в тот день у него на пальце было обручальное кольцо. Другими словами, я понимала, во что собираюсь вляпаться. В свою защиту могу сказать одно: после случившегося со мной я не надеялась, что вызову вос-

хищение у какого-нибудь мужчины, и тем не менее появился Адам – привлекательный и успешный – и восхитился. Голос совести твердил мне, что Адам принадлежит другой, но ему противостоял тихий предательский шепоток: «Нищим выбирать не приходится; бери что дают; кто еще полюбит такую, как ты?»

Я знала, что заводить отношения с женатым мужчиной нехорошо, но это не помешало мне влюбиться в Адама и желать, чтобы он влюбился в меня. Я решила, что буду жить одна, работать одна до конца дней. Даже если бы я нашла кого-то, кто заявил бы, что его не пугает жуткая рябь на левой стороне моего лица, как я узнала бы, любит он меня или просто жалеет? Люди так похожи друг на друга, а я никогда не отличалась особым умением читать мысли. Отношения между мной и Адамом были тайными, хранились за закрытыми дверями. Другими словами, прямо в моей зоне комфорта.

Прежде чем вы отвернетесь с мыслью: какой ужас – позволять человеку, который готовит к похоронам трупы, прикасаться к тебе, – позвольте сказать, как вы ошибаетесь. Любимый умерший, включая мою мать, хотел бы, чтобы последнее прикосновение к его телу было таким же нежным, как касание рук Адама. Иногда я думаю, может, это оттого, что он так много времени проводит с мертвецами, Адам – единственный из всех моих знакомых по-настоящему ценит чудо живого тела. Когда мы занимаемся любовью, его пальцы

задерживаются на местах, где бьется мой пульс, – на сонной артерии, на запястьях, под коленками.

В те дни, когда Адам приходит ко мне, я жертвую часом или двумя сна, чтобы побыть с ним. Он может ускользнуть в любое время, такая уж у него работа – нужно быть на связи двадцать четыре часа семь дней в неделю. По той же причине у его жены не вызывали подозрений отлучки супруга.

– Думаю, Шэннон знает, – говорит мне сегодня Адам, когда я лежу в его объятиях.

– Правда? – Я пытаюсь не замечать, какие чувства вызвало во мне это откровение, будто я на гребне американской горки и больше не вижу рельсов впереди.

– Утром у меня на бампере появился новый стикер с надписью: «Я... СВОЮ ЖЕНУ».

– Откуда ты знаешь, что это она его прилепила?

– Потому что я этого не делал, – отвечает Адам.

Я обдумываю его слова.

– Может, в этом стикере нет никакого сарказма. Может, это благословенное неведение?

Адам женился на своей подружке из старшей школы, с которой продолжал встречаться в колледже. Похоронное бюро, где он работает, – семейный бизнес, который принадлежит его тестю и существует уже пятьдесят лет. По крайней мере два раза в неделю Адам говорит мне, что собирается уйти от Шэннон, но я знаю: это неправда. Во-первых, в таком случае он бросит свою карьеру. Во-вторых, ему придется бросить

не только Шэннон, но и Грейс и Брайана, близнецов. Когда Адам упоминает о них, у него меняется голос. Я надеюсь, что такие же нотки слышатся в нем, когда Адам говорит обо мне.

Хотя, вероятно, он вообще обо мне не говорит. Кому он может поведать о своей любовной интрижке? Я рассказала одной только Мэри, и хотя мы с Адамом оба виноваты в случившемся, она ведет себя так, будто это он меня соблазнил.

– Давай съездим куда-нибудь в выходные, – предлагаю я.

По воскресеньям я не работаю; пекарня по понедельникам закрыта. Мы могли бы исчезнуть на двадцать четыре благословенных часа, вместо того чтобы прятаться в моей спальне, закрывать жалюзи «от солнца» и парковать машину – с новым стикером – за углом у китайского ресторана.

Однажды Шэннон пришла в пекарню. Я увидела ее сквозь окно между кухней и магазином. Это точно была она, я видела ее фотографию на страничке Адама в Facebook. Я была уверена, что Шэннон явилась задать мне жару, но она лишь купила несколько ржаных хлебцев и ушла. После этого Мэри застала меня на полу в кухне, я сидела, размякнув от облегчения. Когда я рассказала ей об Адаме, она задала мне всего один вопрос:

– Ты его любишь?

– Да, – сказала ей я.

– Нет, – возразила Мэри. – Тебе нравится, что он вынужден прятаться так же, как прячешься ты.

Пальцы Адама гладят мой шрам. Прошло много времени,

и с точки зрения медицины такое невозможно, но мне щекотно.

– Ты хочешь уехать, – повторяет он. – Хочешь идти со мной по улице при свете дня, чтобы все видели нас вместе.

Когда он так говорит, я понимаю, что хочу вовсе не этого. Я хочу спрятаться с ним за закрытыми дверями дорогого отеля где-нибудь в Белых горах или коттеджа в Монтане. Но пусть лучше правда не всплывает наружу, а потому я отвечаю:

– Может, и так.

– Ладно. – Адам наматывает на палец завиток моих волос. – Мальдивы.

Приподнявшись на локте, я говорю:

– Я серьезно.

Адам смотрит на меня:

– Сейдж, ты не хочешь даже в зеркало смотреть.

– Я поискала в Google перелеты на юго-запад. За сорок девять долларов мы можем добраться до Канзас-Сити.

Адам проводит пальцем по ксилофону из моих ребер:

– Зачем нам ехать в Канзас-Сити?

Я отталкиваю его руку:

– Перестань отвлекать меня! Потому что это не здесь.

Он закатывается на меня:

– Закажи билеты.

– Правда?

– Правда.

– А если тебя вызовут?

– Мертвецы не станут мертвее оттого, что немного подождут, – резонно замечает Адам.

Сердце у меня начинает биться неровно. Как дразняще-мучительна мысль, что мы появимся на людях вместе. Если я пройду по улице за руку с красивым мужчиной, который явно хочет быть со мной, сделает ли это меня нормальной по ассоциации?

– Что ты скажешь Шэннон?

– Что я без ума от тебя.

Иногда я задумываюсь, что было бы, если бы мы с Адамом встретились раньше. Мы ходили в одну старшую школу с разницей в десять лет. Оба в конце концов вернулись в родной город. Мы работаем в одиночку, в странное время, занимаемся делами, которые обычные люди не стали бы рассматривать как карьеру.

– Что меня преследуют мысли о тебе, – добавляет Адам и покусывает мочку моего уха. – Что я безнадежно влюблен.

Должна сказать, больше всего в Адаме меня восхищает то, что не дает ему проводить со мной все время: когда он любит, то делает это безупречно, совершенно, умопомрачительно. Так же он относится к своим близнецам, а потому каждый вечер возвращается домой, чтобы услышать, как справилась Грейс с контрольной по биологии, или узнать, что Брайан сделал первый хоум-ран в бейсбольном сезоне.

– Ты знаешь Джозефа Вебера? – спрашиваю я, вдруг

вспомнив слова Мэри.

Адам перекатывается на спину и повторяет:

– Я безнадежно влюблен. Ты знаешь Джозефа Вебера? Да, это нормальная реакция...

– Кажется, он работал в старшей школе. Преподавал немецкий.

– Близнецы учат французский... – Вдруг Адам щелкает пальцами. – Он судил матчи Младшей лиги. Думаю, Брайану тогда было лет шесть или семь. Помню, я думал, что этому парню, наверное, уже лет девяносто и ребята из спортивного отдела спятили, но оказалось, он чертовски быстро шевелит ногами.

– Что ты знаешь о нем? – спрашиваю я и переворачиваюсь на бок.

– Вебер? – Адам обнимает меня. – Он был отличный парень. Знал правила вдоль и поперек, никогда не свистел понапрасну. Больше я ничего не помню. А что?

На моем лице играет улыбка.

– Я ухожу от тебя к нему.

Адам целует меня медленно и нежно.

– Как я могу заставить тебя изменить свое решение?

– Уверена, ты что-нибудь придумаешь, – говорю я и обвиваю руками его шею.

В городишке размером с Вестербрук, который возник из того, что янки привезли на «Мейфлауэре», то, что мы с сест-

рами – еврейки, было аномалией, мы отличались от одноклассников так, будто у нас голубая кожа. «Скругляем изгиб колокола», – говорил, бывало, мой отец, когда я спрашивала его, почему мы на неделю перестаем есть хлеб в то самое время, когда все приносят в школу сваренные вкрутую пасхальные яйца в своих коробках для ланча. Меня выбирали как пример, когда наша учительница в начальной школе рассказывала про альтернативные Рождеству праздники, и тогда я превращалась в знаменитость, вместе с Джулиусом, единственным афроамериканским ребенком в моей школе, бабушка которого отмечала кванзу<sup>10</sup>. Я ходила в еврейскую школу вместе с сестрами, но, когда пришло время проходить обряд бат-мицва, я стала умолять родителей, чтобы они позволили мне бросить учебу. Мне этого не разрешили, и тогда я объявила голодовку. Достаточно того, что моя семья не такая, как другие; мне не хотелось привлекать к себе внимание еще больше.

Мои родители были иудеями, но они не соблюдали кашрут и не ходили в синагогу, за исключением лет, предшествовавших посвящению Пеппер и Саффон в иудаизм, когда это было обязательным. Вечерами по пятницам я сидела в синагоге, слушала, как кантор поет на иврите, и удивлялась, почему еврейская музыка такая грустная. Сочинители песен из Богоизбранного народа явно были не слишком счастливы.

---

<sup>10</sup> *Кванза* – один из праздников, которые отмечают афроамериканцы с 26 декабря по 1 января.

Однако мои родители постились на Йом-Кипур и отказывались ставить елку в Рождество.

Я бы сказала, они следовали урезанной версии иудаизма, тогда кто они такие, чтобы указывать мне, как и во что верить? Я так и заявила родителям, добиваясь, чтобы меня не заставляли проходить обряд бат-мицва. Отец помолчал, а потом сказал: «Верить во что-то важно просто потому, что ты это можешь». После чего отправил меня в мою комнату без ужина, что было настоящим шоком, потому как дома нас поощряли отстаивать свое мнение, каким бы спорным оно ни было. Мать прокралась наверх по лестнице, принесла мне сэндвичи с арахисовым маслом и джемом и сказала:

– Твой отец, может, и не раввин, но верит в традицию. Это то, что родители передают своим детям.

– Ладно, – буркнула я. – Обещаю, в июле я куплю все, что нужно для школы, и всегда буду готовить батат с маршмэллоу на День благодарения. У меня нет проблем с традициями, мама. У меня проблемы с хождением в еврейскую школу. Религия не заложена в генах. Никто не верит только потому, что его родители верят.

– Бабушка Минка носит свитеры, – сказала мама. – Все время.

Казалось бы, это замечание не имело отношения к делу. Мать моего отца жила в доме, где жильцам оказывают помощь социальные работники. Она родилась в Польше, и у нее до сих пор сохранился акцент, из-за которого кажется,

будто она все время поет. И да, бабушка Минка носит свитеры, даже когда на улице тридцатиградусная жара, но, кроме того, она любит розовый цвет и леопардовый принт.

Многие выжившие удалили свои татуировки хирургическим путем, но бабушка Минка говорит: «Глядя на нее каждое утро, я вспоминаю, что победила».

Мне потребовалось мгновение, чтобы сообразить, о чем говорит мать. Бабушка Минка была в концлагере? Как я дожила до двенадцати лет, не зная этого? Почему родители ничего мне не рассказали?

– Она не любит говорить об этом, – просто ответила мать. – И не любит показывать свою руку людям.

На уроках обществоведения мы изучали Холокост. Трудно было сопоставить фотографии живых скелетов из учебника с пухленькой женщиной, которая пахла сиренью, не пропускала еженедельные визиты к парикмахеру и держала в каждой комнате квартиры яркие трости, чтобы всегда иметь одну под рукой. Она не часть истории. Она просто моя бабушка.

– Минка не ходит в храм, – продолжила мать. – Полагаю, после таких испытаний у человека могут возникнуть очень сложные отношения с Богом. Но твой отец, он начал ходить. Думаю, это его способ осмыслить произошедшее с ней.

И вот я отчаянно пытаюсь сбросить с себя религию, чтобы вписаться в жизнь, а оказывается, что иудейство у меня в крови, что я потомок человека, пережившего Холокост. Раз-

досадованная, злая, не думая ни о ком, кроме себя, я уткнулась лицом в подушку.

– Это проблемы отца. Меня это не касается.

Мать заколебалась:

– Если бы она не выжила, Сейдж, тебя бы не было.

Больше мы прошлое бабушки Минки ни разу не обсуждали, хотя, когда в том году привезли ее к нам домой на Хануку, я вдруг заметила, что невольно приглядываюсь к ней, надеясь увидеть хоть какую-нибудь тень правды на знакомом лице. Но бабушка была такой же, как всегда: тайком от мамы снимала кожу с жареного цыпленка и съедала ее; высыпала из косметички коллекцию пробников духов и косметики, которую собрала для моих сестер; обсуждала героев сериала «Все мои дети», словно это ее приятели и она зашла к ним на чашку кофе. Если бабушка Минка во время Второй мировой войны сидела в концлагере, наверное, в то время она была совершенно другим человеком.

Ночью, после маминого рассказа про бабушку, мне приснился момент, которого я не помнила, из раннего детства. Я сидела на коленях у бабушки Минки, а она читала мне книгу, переворачивая страницу за страницей. Теперь я понимаю, что история была какая-то странная. На картинках в книге я видела Золушку, но бабушка, вероятно, думала о чем-то своем, потому что в ее сказке говорилось о лесной чаще, о чудищах, о дорожке из зерен.

Помню, я не обращала внимания на слова бабушки, пото-

му что была зачарована золотым браслетом на ее запястье. Я все время тянулась к нему и дергала рукав свитера. В какой-то момент рукав задрался достаточно высоко, и я увидела блеклые голубые цифры на внутренней стороне бабушкиного предплечья.

– Что это?

– Мой номер телефона.

В прошлом году, учась в начальной школе, я запомнила свой, чтобы, если потеряюсь, полицейские могли позвонить мне домой.

– А если ты переедешь? – спросила я.

– О, Сейдж, – засмеялась она. – Я всегда буду здесь.

Назавтра Мэри заходит на кухню, пока я пеку.

– Ночью мне приснился сон, – говорит она. – Ты готовила багеты с Адамом. Попросила его поставить их в духовку, но он вместо этого засунул туда твою руку. Я вскрикнула и попыталась вытащить ее из огня, но не успела. Когда ты отошла от печи, у тебя не было правой руки. Она превратилась в батон. «Все в порядке», – сказал Адам, взял нож и отрезал твою кисть, потом от нее – большой палец, мизинец и все остальные пальцы, и каждый сочился кровью.

– Ну что ж, тебе тоже добрый вечер. – Я открываю холодильник и вынимаю из него поднос с булочками.

– И все? Ты даже не хочешь порассуждать, что это значит?

– Что ты выпила кофе перед сном, – предполагаю я. –

Помнишь, тебе как-то приснилось, что Рокко отказывается снимать обувь, потому что у него куриные лапы? – Я поворачиваюсь к ней. – Ты хоть раз видела Адама? Знаешь, как он выглядит?

– Даже самые красивые вещи могут быть ядовитыми. Аконит и ландыш растут в саду Моне, который тебе так нравится, наверху Святой лестницы, но я не прикасаюсь к ним без перчаток.

– Это не из-за порядка, заведенного в святилище?

Мэри качает головой:

– Большинство посетителей воздерживаются от поедания пейзажа. Но не в том дело, Сейдж. Главное, что этот сон – знак.

– Ну вот, приехали, – бормочу я.

– Ты не должна прелюбодействовать, – вещает Мэри. – Более ясного указания и представить нельзя. А если продолжишь, случится недоброе. Соседи забросают тебя камнями. Ты станешь парией.

– Руки превращаются в еду. Слушай, Мэри, не веди себя со мной как монахиня. То, чем я занимаюсь в свободное время, – мое личное дело. И тебе известно, я не верю в Бога.

Мэри встает у меня на пути и изрекает:

– Это не значит, что Он не верит в тебя.

Шрам у меня зудит. Из левого глаза катятся слезы, как катились много месяцев после операции. Тогда я как будто оплакивала все грядущие потери, хотя сама еще этого не

знала. Может, это архаично и, как ни смешно, по-библейски – верить, что урод и поступает уродливо, что шрам или родимое пятно могут быть знаком внутренней неполноценности, но в моем случае правило подтверждается. Я совершила ужасное; каждый мимолетный взгляд в зеркало – напоминание об этом. Спать с женатым мужчиной – это плохо, с точки зрения большинства женщин? Разумеется, но я не принадлежу к большинству. Вероятно, поэтому, хотя прежняя Я никогда бы не польстилась на Адама, новая Я сделала именно это. Не то что бы я чувствую себя вправе заводить роман с чужим мужем или считаю себя достойной его любви. Просто я не верю, что заслуживаю чего-то лучшего.

Я не социопат. И не горжусь своей связью с женатым мужчиной. Но большую часть времени я нахожу этому оправдания. А сегодня Мэри выбесила меня своими проповедями, и это сигнализирует о моей усталости, или о какой-то особой уязвимости, или о том и другом вместе.

– А как насчет той бедной женщины, Сейдж?

Бедная женщина – это жена Адама. У этой бедняжки есть мужчина, которого я люблю, двое прекрасных детей и лицо без шрамов. Этой несчастной всё преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой.

Я беру острый нож и принимаюсь надрезать им горячие булочки в форме крестов.

– Если хочешь жалеть себя, – продолжает Мэри, – делай это так, чтобы не разрушать жизни других людей.

Я указываю кончиком ножа на свой шрам и спрашиваю:

– Думаешь, я на это напрашивалась? Думаешь, мне не хочется жить, как все нормальные люди: работать с девяти до пяти; гулять по улицам, чтобы дети не пялились на меня; иметь мужчину, который считал бы меня красавицей?

– У тебя могло бы быть все это, – заявляет Мэри, заключая меня в объятия. – Ты единственная, кто говорит, что это невозможно. Ты хороший человек, Сейдж.

Мне хочется верить ей. Так сильно хочется.

– Значит, хорошие люди иногда совершают плохие поступки. – Я отстраняюсь от нее.

Из магазина доносится голос Джозефа Вебера, я узнаю его по акценту и отрывистой манере говорить. Старик спрашивает меня. Я вытираю руки краем фартука, беру отложенный хлеб и маленький пакетик и оставляю Мэри на кухне одну.

– Привет! – радостно произношу я.

Слишком радостно. Джозеф как будто испуган моим чрезмерным радушием. Я сую ему в руки пакетик с домашним собачьим печеньем для Евы и хлеб. Рокко, не привыкший к тому, что я братаюсь с посетителями, замирает с чистой кружкой в руке, которую собирался поставить на полку.

– Чудесам нет краю. / Из глубоких недр земных / Появляется отшельник, – говорит он.

– Перебрал со слогами, – огрызаюсь я и веду Джозефа к свободному столику. Колебания по поводу того, смогу ли я первой завести разговор с ним, приводят к выводу: это мень-

шее из двух зол. Лучше уж я побуду здесь, чем на допросе у Мэри. – Я оставила вам лучший за ночь хлеб.

– Bâtard, – произносит Джозеф.

Я поражена. Большинству людей неизвестно французское название этого хлеба.

– Вы знаете, почему он так называется? – спрашиваю я, отрезая несколько кусков и пытаясь не думать о Мэри и ее сне. – Потому что это не буль и не багет. Буквально – это бастард, внебрачный ребенок.

– Неужели даже в мире выпечки есть своя классовая структура? – задумчиво произносит Джозеф.

Я знаю, что это хороший хлеб. Чувствуется по запаху. Когда вынимаешь крестьянский хлеб из печи, тебя всегда обладает каким-то землистым темным ароматом, будто ты в чаще леса. Я с гордостью смотрю на пористый мякиш. Джозеф от удовольствия закрывает глаза.

– Мне повезло иметь личное знакомство с пекарем.

– Кстати... вы судили игру в Младшей лиге сына одного моего приятеля. Брайана Ланкастера?

Мистер Вебер хмурится, качает головой:

– Это было давным-давно. Я не знал их всех по именам.

Мы болтаем – о погоде, о Еве, о моих любимых рецептах. Мы болтаем, а Мэри закрывает пекарню, предварительно обняв меня и сказав, что не только Бог любит меня, но и она тоже. Мы болтаем, хотя я то и дело убегаю на кухню, чтобы отреагировать на звонки разных таймеров. Для меня это

что-то сверхъестественное, потому что я не умею болтать. В процессе разговора я иногда даже забываю прятать изуверческую сторону своего лица, наклоня голову или стряхивая набок волосы. Но Джозеф то ли слишком вежлив, то ли слишком стеснителен, чтобы упомянуть об этом. Или может быть, просто может быть, он находит другие вещи во мне более привлекательными. Вот почему, наверное, он был у всех детей любимым учителем, судьей, приемным дедушкой – он ведет себя так, будто нет другого места на земле, где ему хотелось бы сейчас оказаться. И никого другого на свете, с кем он предпочел бы беседовать. Это такая головокружительная лихорадка – быть объектом чьего-то внимания в хорошем смысле, не как уродина, что я даже забываю прятаться.

– Давно вы здесь живете? – спрашиваю я, когда мы поговорили уже больше часа.

– Двадцать два года, – отвечает Джозеф. – Раньше я жил в Канаде.

– Ну если вы искали место, где ничего не происходит, то попали в самую точку.

Старик улыбается:

– Думаю, да.

– У вас здесь есть родные?

Рука его дрожит, когда он тянется за своей чашкой с кофе.

– У меня никого нет, – отвечает Джозеф и начинает вставать. – Мне нужно идти.

Какая же я глупая, сунула нос куда не надо и смутила ста-

рика, сама ведь прекрасно знаю, каково это.

– Простите! – выпаливаю я. – За бестактность. Я редко разговариваю с людьми. – С беззащитной улыбкой пытаюсь исправить ситуацию единственным известным мне способом: приоткрываю дверь в свою душу, которую обычно держу под замком, чтобы мы оказались на равных, и признаюсь: – У меня тоже никого нет. Мне двадцать пять. Мои родители умерли. Они не дожили до моей свадьбы. Я не приготовлю им обед в День благодарения и не приду к ним в гости с внуками. С сестрами мы чужие – у них есть минивэны, тренировки по футболу, карьеры с бонусами, и они ненавидят меня, хотя и говорят, что любят. – Слова потоком выливаются из меня; уже произнося их, я тону. – Но в основном у меня никого нет из-за этого.

Дрожащей рукой убираю с лица волосы.

Я знаю в мельчайших подробностях, что видит Джозеф. Стянутая, будто продернутым сквозь нее шнурком, рябая кожа налезает на угол левого глаза. Серебристые зарубки на брови. Лоскутное одеяло из кусочков пересаженной кожи – подобие пазла, фрагменты которого плохо подходят друг к другу. Рот подтянут кверху из-за того, как заживала скула. Проплешина на голове, где больше не растут волосы; ее я закрываю, аккуратно зачесывая набок челку. Лицо монстра.

Не могу понять, отчего я выбрала Джозефа, по сути незнакомого человека, чтобы открыться ему. Может, потому что одиночество – это зеркало и оно узнает себя в других. Руки

мои падают, завеса волос вновь скрывает шрамы. Хотелось бы мне, чтобы так же просто было закамуфлировать шрамы, которые остались у меня в душе.

К чести Джозефа, он не ахает и не отшатывается, а спокойно встречается со мной взглядом.

– Может быть, теперь, – произносит он, – друг у друга будем мы.

На следующее утро по пути с работы я проезжаю мимо дома Адама. Паркуюсь на улице, опускаю окно и смотрю на футбольные ворота с сеткой, установленные на лужайке, на коврик с надписью: «Добро пожаловать!», на перевернутый набок зеленый велосипед, который загорает на подъездной дорожке.

Я представляю себе, что сижу за столом в кухне, Адам перемешивает салат, а я раскладываю по тарелкам пасту. Интересно, стены там желтые или белые? А остаток хлеба – вероятно, купленного в магазине, думаю я с легким осуждением, – лежит неубранный, после того как кто-то готовил на завтрак французские тосты?

Вдруг открывается дверь, я громко чертыхаюсь и съезжаю на сиденье, хотя Шэннон вряд ли меня заметит. Она выходит из дому, застегивая сумочку, и нажимает на пульт дистанционного управления, чтобы разблокировать дверцы своей машины.

– Давай же, мы опоздаем на прием! – кричит она, и че-

рез мгновение из дома вываливается Грейс, она заходится кашлем. – Прикрывай рот, – говорит ей мать.

Я замечаю, что сижу, затаив дыхание. Грейс – это Шэннон в миниатюре, те же золотистые волосы, нежные черты лица, даже такая же прыгающая походка.

– Я пропущу лагерь? – хнычущим голосом спрашивает девочка.

– Да, если у тебя бронхит, – отвечает мать; они обе садятся в машину и уезжают.

Адам не говорил мне, что его дочь больна.

Хотя, впрочем, зачем ему делиться со мной такими вещами? Я не претендую на эту часть его жизни.

Запуская двигатель, я понимаю, что не буду заказывать билеты в Канзас-Сити. Никогда.

Вместо того чтобы ехать домой, я вдруг ловлю себя на том, что ищу в навигаторе адрес Джозефа. Ага, он живет в конце маленькой тупиковой улочки. Останавливаюсь у поребрика и пытаюсь выдумать причину, почему я здесь, как вдруг старик стучит по окну моей машины и говорит:

– Так это вы. – Он держит на поводке Еву. Собака приплясывает у его ног. – Что привело вас сюда? – спрашивает Джозеф.

Я собираюсь ответить, что это случайное совпадение, мол, не туда свернула, или что у меня тут живет подруга. Но вместо этого выкладываю правду:

– Вы.

Лицо старика расползается в улыбке.

– Тогда вы должны зайти ко мне на чай, – предлагает он.

Дом его совсем не такой, как я ожидала. Диваны обтянуты мебельным ситцем, на спинках сидят куклы в кружевных платьях, на пыльной каминной полке – фотографии в рамках, отдельная полка уставлена коллекцией фарфоровых статуэток Хаммель. Невидимое присутствие женщины наложило отпечаток на все.

– Вы женаты, – тихо говорю я.

– Был женат, – отвечает Джозеф, – на Марте. Пятьдесят один очень хороший год и один не такой хороший.

«Видно, из-за этого он и начал ходить в группу скорби», – про себя догадываюсь я.

– Мне жаль.

– Мне тоже, – со вздохом произносит Джозеф, вынимает пакетик с чаем из кружки и аккуратно отжимает его, наматывая нитку на черпачок ложки. – По средам вечером она напоминала мне, что нужно подкатить мусорный бак к дороге. За пятьдесят лет я ни разу не забыл, но она никогда не доверяла мне. Чем сводила с ума. Теперь я все бы отдал, лишь бы снова услышать ее напоминание.

– Я едва не вылетела из колледжа. Мать поселилась в моей комнате в общежитии, вытаскивала меня из кровати и заставляла учиться вместе с ней. Я чувствовала себя величайшей неудачницей на свете. А теперь понимаю, как мне повезло. – Я опускаю руку и глажу шелковистую головку Евы. –

Джозеф? Вы когда-нибудь чувствуете, что теряете ее? Что больше не слышите ее голос в голове или не можете вспомнить запах ее духов?

Старик качает головой и говорит:

– У меня другая проблема. Я не могу забыть его.

– Его?

– Ее, – поправляет себя Джозеф. – Столько времени прошло, а я все еще путаю немецкие слова с английскими.

Мой взгляд падает на шахматы, стоящие на буфете позади Джозефа. Все фигуры тщательно вырезаны: пешки в виде крошечных единорогов, ладьи – как кентавры, офицеры – в виде пегасов. Русалочий хвост королевы обвивается вокруг подставки; голова короля-вампира откинута назад, клыки обнажены.

– Это невероятно, – выдыхаю я и подхожу ближе, чтобы лучше рассмотреть комплект. – В жизни ничего подобного не видела.

– Потому что он единственный, – усмехается Джозеф. – Это семейная реликвия.

Я с еще большим восхищением разглядываю шахматы – коробка инкрустирована безупречно подогнанными квадратиками из вишни и клена; у русалки крошечные глазки из драгоценных камней.

– Это очень красиво.

– Да. Мой брат был очень одаренным, – мягко произносит Джозеф.

– Это его работа? – Я беру вампира, провожу пальцем по гладкой головке и спрашиваю: – Вы играете?

– Давно уже не играл. У Марты не хватало терпения. – Он поднимает взгляд. – А вы?

– Не слишком хорошо. Нужно думать на пять ходов вперед.

– Все дело в стратегии, – говорит Джозеф. – И в защите короля.

– А откуда эта идея с мифическими существами? – интересуюсь я.

– Мой брат верил во всевозможных мифических созданий: фей, эльфов, драконов, оборотней, честных людей.

Я невольно вспоминаю Адама; думаю о его дочери, которая кашляет, когда педиатр слушает ее легкие.

– Может, вы научите меня тому, что знаете.

Джозеф становится завсегдатаем «Хлеба нашего насущного», он появляется незадолго до закрытия, чтобы мы могли поболтать полчаса, после чего уходит, а я принимаюсь за ночную работу. Как только старик переступает порог, Рокко кричит мне на кухню:

– Сейдж, твой «бойфренд»!

Мэри приносит Джозефу из святилища отросток лилейника и объясняет, как посадить его в садике на заднем дворе. Она уже не сомневается в том, что после закрытия магазина я отправлю Джозефа домой и все будет в порядке. Собачье

печенье, которое я пеку для Евы, становится новинкой в нашем ассортименте.

Мы вспоминаем учителей, которые вели у меня уроки в старшей школе, когда Джозеф еще работал там, – мистера Мучника, у которого однажды пропал парик, когда он уснул, наблюдая за сдачей выпускного теста; мисс Фиеро, которая приводила в школу своего малыша, если заболела няня, и оставляла его в компьютерном классе играть в «Улицу Сезам». Мы обсуждаем рецепт штруделя, который готовила бабушка Джозефа. Он рассказывает мне о предшественнике Евы, шнауцере по кличке Вилли, который превращал себя в мумию, заворачиваясь в туалетную бумагу, стоило только случайно оставить открытой дверь в уборную. Джозеф признается, что теперь, раз он перестал работать и больше не занимается волонтерством, ему трудно заполнить чем-то свой день.

А я – я говорю о тех вещах, которые давно уже упаковала и запихнула вглубь сознания, как в сундук надежд старой девы. Рассказываю, как однажды мы с мамой вместе ходили по магазинам и она застряла в сарафане, потому что он был ей мал, и нам пришлось купить его только для того, чтобы разрезать. И как много лет после этого, только услышав слово «сарафан», мы обе покатывались со смеху. Я вспоминаю, как отец каждый год читал на Седер пасхальную Агаду голосом Дональда Дака, не из неуважения, но потому, что это смешило его маленьких дочерей. Я рассказываю, как в

дни рождения мама разрешала нам есть наш любимый десерт на завтрак, а когда мы болели, умела прикоснуться ко лбу и определить температуру с точностью до двух десятых градуса. Я вспоминаю, как в детстве верила, что у меня в шкафу живет страшное чудовище, и отец целый месяц спал сидя, прислонившись спиной к раздвижным дверцам шкафа, чтобы злобная тварь не могла вырваться наружу посреди ночи. Я рассказываю, как мать научила меня заправлять простыню на больничный манер, а отец показал, как сплевывать семечки от дыни сквозь зубы. Каждое воспоминание, словно бумажный цветок, вынутый из рукава фокусника: только что его не было, и вдруг он такой реальный и яркий, что непонятно, как он мог оставаться незаметным до сих пор. И подобно тем бумажным цветам, воспоминания, как только их явили миру, уже невозможно снова спрятать.

Я ловлю себя на том, что отменяю свидания с Адамом, чтобы вместо этого провести лишний час в доме Джозефа, мы играем в шахматы, пока глаза у меня не начинают слипаться, а тогда приходится ехать домой, чтобы все-таки немного отдохнуть. Джозеф учит меня контролировать центр доски, уступать фигуры только в случае крайней необходимости и оценивать важность каждого коня, офицера, ладьи и пешки, прежде чем решить, кем пожертвовать.

Во время игры Джозеф задает мне вопросы. Была ли моя мать рыжей, как я? Жалел ли мой отец когда-нибудь, что бросил ресторанное дело и занялся продажей промышлен-

ного оборудования? Пробовал ли кто-нибудь из родителей мою выпечку? Ответы даже на самые трудные вопросы, например, что мне не довелось печь ни для мамы, ни для папы, не обжигают мне язык так сильно, как год или два назад. Оказывается, делиться прошлым с кем-то – это совсем не то же самое, что оживлять его в памяти наедине с собой. Разделенное с другим человеком, оно ощущается не как рана, а скорее как припарка.

Через две недели мы с Джозефом приезжаем вместе на встречу группы скорбящих. Мы сидим рядом, и между нами будто существует телепатическая связь, пока другие говорят. Иногда Джозеф ловит мой взгляд и прячет улыбку, иногда я выкатываю глаза, глядя на него. Мы с ним как сообщники по преступлению.

Сегодня мы обсуждаем, что будет с нами после смерти.

– Мы будем блуждать где-то рядом? – спрашивает Мардж. – Наблюдать за своими любимыми?

– Думаю, да. Я до сих пор иногда ощущаю присутствие жены, – говорит Стюарт. – Воздух как будто слегка увлажняется.

– По-моему, это немного своекорыстно – думать, что души остаются где-то рядом, – мгновенно реагирует Шейла. – Они отправляются на Небеса.

– Все?

– Все, кто верит, – уточняет она.

Шейла испытала духовное перерождение, чего от нее

ждать. Но мне все равно неуютно, как будто она своим утверждением намекает на мою неполноценность.

– Когда моя мать была в больнице, – говорю я, – раввин рассказал ей притчу. В раю и в аду люди сидят за банкетными столами, полными изысканных яств, но никто не может согнуть руки в локтях. В аду все голодают, потому что не могут положить в рот еду. В раю все сыты, потому что им не надо сгибать руки, чтобы накормить друг друга.

Я чувствую на себе пристальный взгляд Джозефа.

– Мистер Вебер? – призывает его подать голос Мардж.

Я думаю, что он, как обычно, проигнорирует вопрос или покачает головой. Однако, к моему изумлению, Джозеф говорит:

– Когда вы умираете, вы умираете. И все кончено. – Его ответ будто накрывает нас с головой своей прямоотой. – Простите, – добавляет Джозеф и выходит из комнаты.

Я нахожу его в притворе церкви.

– Эта притча, которую вы рассказали... Вы в нее верите?

– Думаю, мне хотелось бы верить, – отвечаю я, – ради мамы.

– Но ваш раввин...

– Не мой. Моей матери. – Я направляюсь к двери.

– Но вы верите в загробную жизнь? – любопытствует Джозеф.

– А вы – нет.

– Я верю в ад... но он здесь, на земле. – Старик качает

головой. – Хорошие люди и плохие люди. Как будто все так просто. Все люди одновременно и хорошие, и плохие.

– Вам не кажется, что одно перевешивает другое?

Джозеф останавливается:

– Вот вы и скажите мне.

Мой шрам начинает гореть, будто от слов Джозефа меня обдало жаром.

– Почему вы никогда не спрашивали, как это случилось? – вдруг выдаю я.

– Как случилось – что?

Я делаю круговое движение перед лицом:

– Ах! Это. Давным-давно кто-то сказал мне, что история сама себя расскажет, когда будет готова. Наверное, она еще не готова.

Странная идея, что случившееся со мной не моя история, а нечто совершенно от меня отдельное. Я задумываюсь, может, в том и состояла моя проблема все это время: я не могла отделить себя от истории.

– Я попала в аварию. – (Джозеф кивает и ждет.) – Пострадала не я одна, – выдавливаю я из себя, хотя слова меня душат.

– Но вы остались в живых. – Джозеф мягко прикасается к моему плечу. – Может, это главное.

Я качаю головой:

– Хотелось бы мне в это верить.

Джозеф смотрит на меня:

– Как нам всем.

На следующий день Джозеф не появляется в пекарне. И на следующий тоже. Я прихожу к единственному разумному заключению: он лежит дома в коматозном состоянии. Или еще хуже.

За все годы работы в «Хлебе нашем насущном» я ни разу не оставляла пекарню без присмотра ночью. Мои вечера подчинены по-военному точному расписанию: мне нужно действовать быстро и четко, чтобы приготовить тесто, сформовать сотни хлебов, дать им подняться, чтобы они были готовы к выпеканию, когда печь будет свободна. Пекарское дело становится образом жизни, ритмом дыхания; каждый этап работы – как новый партнер в танце. Стоит упустить время, и вы окажетесь посреди полного хаоса. Я в лихорадочной суете пытаюсь произвести то же количество хлеба за меньшее время. Но понимаю, что от меня не будет никакого толку, пока я не съезжу к Джозефу и не удостоверюсь, что он еще дышит.

Я еду туда, вижу свет в окне кухни. Ева сразу заливается лаем. Джозеф открывает входную дверь.

– Сейдж? – удивленно произносит он, громко чихает и вытирает нос белым платком. – Что-нибудь случилось?

– Вы простудились, – говорю я, хотя это и без того очевидно.

– Вы приехали сказать мне то, что я и так знаю?

– Нет. Я подумала... Ну я хотела проверить, как вы, потому что не видела вас уже несколько дней.

– Ах! Что ж, как видите, я все еще на ногах. – Он делает жест рукой. – Зайдете?

– Не могу. Мне нужно на работу. – Но я не двигаюсь с места. – Я забеспокоилась, когда вы не пришли в пекарню.

Джозеф мнется, держась за ручку двери.

– Значит, вы приехали проверить, жив ли я?

– Я заехала проведать друга.

– Друга, – повторяет Джозеф, лучась улыбкой. – Значит, мы теперь друзья?

Двадцатипятилетняя уродка и девяностолетний старик? Полагаю, встречались и более странные парочки.

– Мне это было бы очень приятно, – церемонно добавляет Джозеф. – Увидимся завтра, Сейдж. А теперь вам нужно возвращаться к работе, чтобы завтра у меня была булочка к кофе.

Через двадцать минут я уже снова на кухне, выключаю полдюжины злобно трезвонящих таймеров и оцениваю разрушения, причиненные моей часовой самоволкой. Некоторые хлеба перестояли, тесто осело и скособочилось. Ничего хорошего у меня сегодня не выйдет. Мэри расстроится. Завтрашние посетители уйдут с пустыми руками.

Я заливаюсь слезами.

Не знаю, отчего я плачу – из-за катастрофы на кухне или от мысли: как ужасно, что я могу лишиться Джозефа, когда

только-только нашла его. Просто не знаю, сколько еще утратя выдержу.

Мне хотелось бы напечь для мамы кучу всего: белого хлеба, рулетиков с шоколадом и бриошей, пусть громоздятся горой на ее небесном столе. Мне хотелось бы накормить ее. Но я не могу. Как сказал Джозеф, не важно, что нам, живым, нравится говорить себе по поводу загробной жизни, – если человек умер, все кончено.

Но это. Я окидываю взглядом кухню. Это я могу исправить. Нужно только быстро обмять тесто, и пусть оно поднимется снова.

И я мну его, мну и мну.

На следующий день происходит чудо.

Мэри, которая сперва поджимает губы и злится на меня за то, что я ночью испекла меньше обычной нормы, разрезает чабатту.

– И что мне теперь делать, Сейдж? – Она вздыхает. – Отправлять покупателей к Руди?

Руди – наш конкурент.

– Ты можешь давать им купоны на отсроченную покупку.

– Арахисовое масло и джем потеряют вкус при отсроченной покупке.

Когда она спрашивает, что стряслось, я лгу. Говорю, что у меня случилась мигрень и я проспала два часа.

– Такого больше не повторится.

Мэри надувает губы – значит она меня пока еще не простила. Потом берет в руку ломоть чиабатты, чтобы намазать его клубничным джемом.

Но не делает этого.

– Иисус, Мария и Иосиф! – Мэри разевает рот, роняет кусок хлеба, будто он обжигает ей руку, и тычет в него пальцем, указывая на мякиш.

Крестьянский хлеб оценивают по дыркам в мякише – они должны быть разного размера, другие виды хлеба, например «Чудо», хотя по питательности это и не хлеб вовсе, имеют одинаковые мелкие поры.

– Ты видишь Его?

Прищурившись, я различаю нечто похожее по форме на лицо.

Потом очертания становятся более четкими: борода, терновый венец.

Очевидно, я испекла в хлебе лик Господа.

Первые посетители, которые становятся свидетелями нашего маленького чуда, – это женщины из сувенирного магазина в святилище: они фотографируются с куском хлеба между ними. Потом прибывает отец Дюпре – священник.

– Восхитительно! – произносит он, глядя поверх бифокальных очков.

Хлеб уже зачерствел. На половинке, еще не разрезанной Мэри, конечно, такое же изображение Иисуса. Мне приходит

в голову, что чем более тонкие куски мы будем отрезать от этого чудо-хлеба, тем больше образов Иисуса получим.

– Дело не в том, что Господь явил Себя, – говорит отец Дюпре Мэри. – Он всегда здесь. Вопрос в том, почему Он решил явить Себя сейчас.

Мы с Рокко наблюдаем эту сцену с расстояния, скрестив руки на груди и облокотившись на стойку.

– Боже правый, – бормочу я.

Рокко фыркает:

– Точно. Похоже, / Ты испекла Отца, Сына / И Святой Багет.

Распахивается дверь, в пекарню влетает репортерша с курчавыми каштановыми волосами, за ней – медведеподобный оператор.

– Это здесь хлеб с Иисусом?

Мэри выходит вперед:

– Да. Я Мэри Деанджелис. Владелица пекарни.

– Отлично! Я Гарриет Ярроу с канала WMUR. Мы хотели бы поговорить с вами и вашими сотрудниками. В прошлом году мы снимали сюжет о лесорубе, который увидел Деву Марию на пне дерева и приковал себя к нему цепями, чтобы защитить остальной лес от вырубki. Это был самый популярный ролик две тысячи двенадцатого года. Мы готовы? Да? Отлично!

Пока она берет интервью у Мэри и отца Дюпре, я прячусь за спиной Рокко, который успевает продать три багета, горя-

чий шоколад и манный хлеб. Потом Гарриет сует микрофон мне в лицо.

– Это пекарь? – спрашивает она у Мэри.

Над циклопическим глазом камеры горит красный огонек, который мигает, когда идет съемка. Я пялюсь на него, потрясенная мыслью, что весь штат увидит меня в дневных новостях. Прижимаю подбородок к груди, пряча лицо, щеки горят от стыда. Что он успел заснять? Шрам только мельком, пока я не опустила голову? Или достаточно четко, чтобы дети побросали ложки в тарелки с супом, а беременные повключали телевизоры из страха, что родят уродов?

– Мне нужно идти, – бормочу я, бегу в рабочий кабинет Мэри, а оттуда через заднюю дверь – на улицу.

Несусь по Святой лестнице, перемахивая через две ступеньки. Все приезжают в святилище посмотреть на гигантские четки, но мне нравится маленькая пещера на верху холма, которую Мэри оформила, как на картинах Моне. Туда никто не заглядывает, потому мне особенно полюбилось это место.

Вот почему я удивляюсь, заслышав чьи-то шаги. Появляется Джозеф, он тяжело опирается на поручень, и я бросаюсь помочь ему.

– Что происходит там, внизу? Какая-то знаменитость пьет кофе?

– Типа того. Мэри решила, что увидела лик Иисуса в одной из моих чабатт.

Я ожидаю, что Джозеф усмехнется, но он вместо этого склоняет голову набок, обдумывая мои слова.

– Полагаю, Господь имеет обыкновение являться в самых неожиданных местах.

– Вы верите в Бога?! – искренне удивляюсь я.

После нашего разговора о рае и аде я решила, что он тоже атеист.

– Да, – отвечает Джозеф. – Он судит нас в конце. Бог Старого Завета. Вы должны это знать как иудейка.

Чувствую болезненный укол отчуждения.

– Никогда я не говорила, что я иудейка.

– Но ваша мать...

– Это не я.

Эмоции быстро сменяются на лице Джозефа, будто он мысленно борется с какой-то дилеммой.

– Ребенок матери-еврейки – еврей.

– Думаю, это зависит от того, кого вы спросите. А я спрашиваю вас: какая разница?

– Я не хотел вас обидеть, – сухо говорит Джозеф. – Я пришел просить об одолжении, и мне просто нужно понимать, что вы такая, какой я вас себе представляю. – Старик делает глубокий вдох, а на выдохе произносит: – Я хотел бы, чтобы вы помогли мне умереть. – Его слова повисают в воздухе между нами.

– Что? – не понимаю я. – Почему? – А сама думаю: «Это момент старческой слабости». Но глаза Джозефа яр-

кие, взгляд сосредоточенный.

– Понимаю, это удивительная просьба...

– Удивительная? А не безумная ли...

– У меня есть на то причины, – настаивает на своем Джозеф. – Прошу вас, поверьте.

Я отступаю на шаг назад:

– Не лучше ли вам уйти?

– Пожалуйста, – не отстает Джозеф. – Это как вы говорили про шахматы. Я просчитываю ситуацию на пять ходов вперед.

Его слова заставляют меня умолкнуть на мгновение.

– Вы больны?

– Врачи говорят, что у меня тело гораздо более молодого человека. Это Господь шутит со мной. Делает меня таким сильным, что я не могу умереть, даже когда сам этого хочу. У меня дважды был рак. Я выжил после автомобильной аварии и перелома бедра. Я даже, да простит меня Всевышний, выпил упаковку таблеток. Но меня нашел Свидетель Иеговы, который раздавал листовки, – увидел в окно лежащим на полу.

– Почему вы пытались убить себя?

– Потому что мне нужно умереть, Сейдж. Я это заслужил. И вы можете мне помочь. – Он мнется. – Вы показали мне свои шрамы. Я прошу вас только об одном: позвольте мне показать вам свои.

Меня поражает мысль: ведь я ничего не знаю об этом че-

ловеке, кроме того, чем он сам поделился со мной. А теперь он выбрал меня, чтобы я помогла ему совершить самоубийство.

– Слушайте, Джозеф, – мягко говорю я. – Вам нужна мощь, но не по той причине, которую вы назвали. Я не собираюсь никого убивать.

– Вероятно, нет. – Он запускает руку в карман плаща, достает маленькую фотографию с зубчатыми краями и вкладывает ее мне в ладонь.

На снимке я вижу мужчину гораздо моложе Джозефа, с тем же мыском волос, крючковатым носом и похожими чертами лица. На нем форма эсэсовца, и он улыбается.

– Но я это делал, – говорит старик.

*Дамиан высоко поднял руку, солдаты у него за спиной засмеялись. Я попыталась подпрыгнуть, чтобы дотянуться до монет, но не смогла и пошатнулась. Хотя был октябрь, в воздухе уже пахло зимой, и руки у меня онемели от холода. Дамиан крепко обхватил меня, будто в тиски зажал, и притянул к себе. Я почувствовала, как серебристые пуговицы на его форме впечатываются в мою кожу.*

– Пусти, – процедила я сквозь зубы.

– Сейчас, сейчас, – ухмыляется он. – Разве так говорят с клиентом, который платит?

*Это был последний багет. Как только я получу деньги, сразу пойду домой, к отцу.*

*Я огляделась – вокруг другие торговцы. Старуха Сал мешала в бочке остатки селедки; Фарух сворачивал свой шелк, старательно избегая конфронтации. Они не хотели ссориться с капитаном стражи.*

*– Где твои манеры, Ания? – укорил меня Дамиан.*

*– Пожалуйста!*

*Он бросил взгляд на своих солдат:*

*– Звучит неплохо, когда она упрашивает меня, верно?*

*Другие девушки щебетали про его поразительно яркие глаза, спорили: волосы у него черные как ночь или как крыло ворона, восхищались его улыбкой, полной очарования, от которой теряешь голову и забываешь все слова, но я не находила в нем ничего привлекательного.*

*Дамиан, может, и был одним из самых видных парней в деревне, но он напоминал мне тыквы, надолго оставленные на крыльце в День Всех Святых, – смотреть приятно, а ткнешь пальцем, и оказывается, что они гнилые.*

*К несчастью, Дамиану нравились трудные задачи. И раз уж я оказалась единственной женщиной в возрасте от десяти до ста лет, которая не поддалась его чарам, он выбрал меня своей мишенью.*

*Дамиан опустил руку, в которой сжимал монеты, и обвил ею мою шею. Я чувствовала, как серебро прижимается к тому месту, где у меня бьется пульс. Дамиан придавил меня к тележке торговца овощами, будто хотел показать, как легко может справиться со мной, даже убить, насколько*

ко он сильнее. Но не убил, а вместо этого наклонился вперед и прошептал: «Выходи за меня, и тебе никогда больше не придется переживать из-за налогов». Не отпуская мою шею, он поцеловал меня.

Я укусила его за губу так сильно, что у него пошла кровь. Он отшатнулся от меня, а я мигом схватила пустую корзину, в которой носила хлеб на рынок, и побежала.

Отцу ничего не скажу, решила я. У него и так забот хватает.

Чем дальше я углублялась в лес, тем сильнее ощущала запах горящего в нашем очаге торфа. Еще немного, и я буду дома, отец даст мне булочку, которую испек специально для меня. Я буду сидеть у стола и рассказывать ему, что видела в деревне: одна мамаша металась по рынку в отчаянии из-за того, что ее близнецы спрятались под развернутыми рулонами шелка Фаруха, а толстяк Тэдди пробовал сыр во всех лавках, набил себе живот, да так ничего и не купил. Я расскажу ему о человеке, которого никогда прежде не видела, он пришел на рынок с мальчиком-подростком, который внешне был похож на него, как брат. Но мальчик оказался слабоумным; на голове у него был кожаный шлем, закрывавший нос и рот, только дырки для дыхания оставлены, и кожаные наручники на запястьях, чтобы старший брат мог держать его рядом с собой на коротком поводке. Мужчина прошел мимо моего лотка с хлебом, мимо торговца овощами и других лавок, чтобы добраться до мясника, где хотел

купить ребер. У него не хватило денег, тогда он снял с себя шерстяную куртку и сказал: «Возьми это. Большие у меня ничего нет». А потом поплелся назад через площадь, говоря своему брату: «Скоро ты поешь», – и они скрылись из виду.

Отец придумает для них историю: «Они спрыгнули с циркового поезда и оказались здесь. Эти люди – наемные убийцы, которые приглядываются к дому Баруха Бейлера». Я буду хохотать и есть свою булочку, согреваясь у очага, пока отец замешивает новую порцию теста.

Дом от тропинки отделял ручей, и отец положил широкую доску, чтобы перебираться через него. Но сегодня, когда я дошла до переправы, то остановилась и нагнулась к воде – хотела напиться и смыть приставший к губам горький привкус Дамиана.

Вода в ручье текла красная.

Я поставила на землю корзину и пошла вдоль берега вверх по течению, башмаки вязли в топкой грязи. И потом я увидела...

Мужчину, лежавшего на спине, нижняя часть его тела была погружена в воду. Горло перерезано, грудь вспорота. Вены стали притоками нашего ручья, сосуды походили на карту места, куда мне не хотелось бы попасть. Я закричала.

Там была кровь, столько крови, все лицо залито и волосы.

Там была кровь, столько крови, что прошло несколько мгновений, прежде чем я узнала своего отца.

## Сейдж

Солдат на фотографии смеется, будто кто-то только что рассказал ему анекдот. Его левая нога стоит на каком-то ящике, в правой руке у него пистолет. За спиной видны бараки. Это напоминает мне снимки солдат перед отправкой кораблями на фронт, от них так и разит напускной храбростью, как забористым лосьоном после бритья.

Это явно не лицо человека, который сомневается в себе. Этот человек наслаждается тем, что он делает.

Других людей на фотографии не видно, но они витают за пределами белых полей снимка, как призраки: заключенные, которые предпочитают не показываться, когда рядом эсэсовец.

У мужчины на снимке светлые волосы, сильные плечи и уверенный вид. Мне трудно увязать его с тем, который однажды сказал, что нет счета утратам, которые он пережил.

Но зачем бы он стал лгать о таком? Люди врут, когда хотят убедить других, что они не чудовища... а не наоборот.

В таком случае, если Джозеф говорит правду, почему он сделался таким заметным членом местного сообщества: преподавал в школе, был тренером, ни от кого не прятался?

– Вот видите, – говорит Джозеф и забирает у меня фотографию. – Я был в отряде СС «Мертвая голова».

– Я вам не верю.

Джозеф удивленно смотрит на меня:

– Зачем я стал бы признаваться в том, что совершал ужасные вещи, если бы это не было правдой?

– Не знаю. Объясните сами.

– Потому что вы еврейка.

Я закрываю глаза, пытаюсь выбраться из водоворота закружившихся в голове мыслей. Я не еврейка; уже много лет я не причисляю себя к евреям, даже если, по мнению Джозефа, формально это не так. Но если я не еврейка, то почему я чувствую себя так глубоко оскорбленной при виде его фотографии в эсэсовской форме?

И почему меня начинает тошнить, когда он вешает на меня этот ярлык; когда я думаю, что по прошествии такого долгого срока Джозеф все равно считает, что одного еврея без труда можно заменить другим?

В этот момент отвращение поднимается во мне, как воды потопа. В этот момент я думаю, что способна убить его.

– Есть причина, почему Бог так долго не позволяет мне умереть. Он хочет, чтобы я почувствовал то, что чувствовали они. Они молились о спасении жизни, но не имели над ней власти; я молюсь о смерти, но не имею власти над ней. Вот почему я хочу, чтобы вы помогли мне.

*А вы спрашивали евреев, чего они хотят?*

Око за око; одна жизнь за многие.

– Я не собираюсь убивать вас, Джозеф. – С этими словами я ухожу, но его голос останавливает меня.

– Пожалуйста. Это желание умирающего, – молит старик. – Или, скорее, желание человека, который хочет умереть. Они не так уж сильно отличаются.

Он бредит. Воображает себя вампиром из своего шахматного набора, которого держат здесь в ловушке за грехи. Думает, если я убью его, библейский правый суд свершится и кармические долги будут стерты, еврейка отнимет жизнь у убийцы других евреев. Рассудком я понимаю, что это абсурд. Эмоционально я не хочу давать ему малейшего повода для утешительной мысли, что собираюсь рассматривать всерьез его просьбу.

Но я не могу просто уйти и сделать вид, что этого разговора не было. Если бы ко мне на улице подошел человек и признался в убийстве, я не могла бы это проигнорировать. Я нашла бы кого-нибудь, кто знает, что с этим делать.

И давность убийства, совершенного почти семьдесят лет назад, ничего не меняет.

У меня не укладывается в голове, как человек в эсэсовской форме, глядевший на меня с фотографии, превратился в стоящего передо мной старика. В того, кто скрывался, будучи у всех на виду, более полувека.

Я смеялась с Джозефом; я доверяла Джозефу; я играла в шахматы с Джозефом. За спиной у него садик в стиле Моне, созданный Мэри, там цветут георгины, душистый горошек и плетистые розы, гортензии, дельфиниум и аконит. Я вспоминаю сказанные Мэри слова: иногда самые прекрасные ве-

щи могут оказаться ядовитыми.

Два года назад в новостях рассказывали о деле Ивана Демьянюка. Хотя я не следила за развитием событий, но помню картинку, как очень старого человека вывозят из дома в инвалидной коляске. Очевидно, кто-то где-то до сих пор преследует бывших нацистов.

Но кто?

Если Джозеф лжет, мне нужно знать почему. Но если он говорит правду, тогда я могу невольно стать частью истории.

Мне нужно подумать. И пусть Джозеф верит, что я на его стороне.

Я поворачиваюсь к нему. Перед глазами стоит образ юного Джозефа в нацистской форме, вот он поднимает руку и стреляет в кого-нибудь. Вспоминается фотография из школьного учебника истории – изможденный еврей несет на руках тело другого.

– Прежде чем я решу, помогать вам или нет... мне нужно знать, что вы сделали, – медленно произношу я.

Джозеф задерживает дыхание и выпускает долгий вздох.

– Значит, вы не отказываетесь наотрез, – осторожно говорит он. – Это хорошо.

– Это плохо, – поправляю его я и бегу вниз по Святой лестнице, а он пусть сам о себе позаботится.

Я гуляю. Много часов. Знаю, что Джозеф спустится вниз из святилища и попытается найти меня в пекарне, поэтому

мне не хочется быть там. Наконец я возвращаюсь и вижу: чудесам нет числа. Хилые, увечные, старые, прикованные к инвалидным креслам люди тонкой струйкой вытекают из входных дверей. Несколько монахинь, стоя на коленях, молятся в коридоре у куста олеандра, рядом с уборной. Каким-то образом за время моего отсутствия весть об Иисусовом Хлебе разнеслась по округе.

Мэри стоит бок о бок с Рокко, который завязал свои дреды в аккуратный хвост и держит хлеб на блюде, накрытом бордовым кухонным полотенцем. Перед ними мать провозит в сложно устроенном, моторизованном кресле на колесах своего сына лет двадцати.

– Смотри, Кит, – говорит она, беря хлеб и поднося его к скрюченному кулаку юноши. – Ты можешь потрогать Его?

Завидев меня, Мэри оставляет Рокко на посту, а сама берет меня под руку и ведет на кухню. Щеки у нее пылают, черные волосы расчесаны до блеска, и – Мать Божья! – неужели она накрасилась?

– Где ты была? – укоризненно спрашивает Мэри. – Ты все пропустила!

*Вот что ее волнует.*

– А?

– Через десять минут после полуденного выпуска новостей они начали приходить. Старые, больные, все, кто хочет просто прикоснуться к хлебу.

Я думаю, во что он превратился после того, как его потро-

гали сотни рук.

– Может, это глупый вопрос, но зачем?

– Чтобы излечиться, – отвечает Мэри.

– Верно. Онкологам давно уже надо было искать лекарство от рака в куске хлеба.

– Скажи это ученым, которые открыли пенициллин, – говорит Мэри.

– Мэри, а если это не имеет ничего общего с чудом? Просто молекулы глютенa так сцепились?

– Я в это не верю. Но в любом случае это все равно чудо, потому что дает отчаявшимся людям надежду.

Мои мысли возвращаются к Джозефу, к евреям в концлагере. Когда вас подвергают пыткам за веру, может ли религия оставаться путеводной звездой? Верит ли женщина, сын которой глубокий инвалид, что ему поможет Бог из этого дурацкого хлеба, или, скорее уж, Бог, который позволил ему родиться таким?

– Ты должна радоваться. Каждый, кто пришел сюда увидеть хлеб, купил что-нибудь из твоей выпечки.

– Ты права, – бормочу я. – Я просто устала.

– Тогда иди домой. – Мэри смотрит на часы. – Потому что, думаю, завтра у нас будет вдвое больше посетителей.

Покидая пекарню и проходя мимо человека, который увлеченно снимает встречу с хлебом на видеокамеру, я уже знаю, что мне нужно найти кого-то себе на подмену.

У нас с Адамом есть негласная договоренность не появляться друг у друга на работе. Никогда не знаешь, кто может пройти мимо, узнать твою машину. К тому же его начальник – отец Шэннон.

Поэтому я оставляю машину за квартал от похоронного бюро и снова думаю о Джозефе. Случалось ли с ним когда-нибудь, что новый знакомый игриво грозил ему пальцем и говорил: «Ваше лицо мне почему-то знакомо...» – отчего Джозеф покрывался холодным потом? Смотрелся ли он в витрины магазинов не для того, чтобы увидеть свое отражение, а чтобы проверить, не следит ли за ним кто?

И разумеется, я задаюсь вопросом: было ли наше знакомство случайным или он искал кого-то вроде меня? Не просто девушку из еврейской семьи в городе, где евреев по пальцам пересчитать, но такую, у которой вдобавок изуродовано лицо и которая слишком замкнута, чтобы выболтать кому-нибудь его историю. Я никогда не рассказывала Джозефу об Адаме, но не углядел ли он во мне человека с нечистой совестью, как у него самого?

К счастью, сейчас не проходит никакая похоронная церемония. У Адама надежный бизнес – клиенты не переведутся, но, если бы он был занят, я не стала бы его беспокоить. Обойдя здание, я останавливаюсь у мусорных баков и пишу ему сообщение:

Я на заднем дворе. Нужно поговорить.

Через мгновение Адам появляется, одетый как хирург.

– Что ты здесь делаешь, Сейдж? – шепчет он, хотя мы одни. – Роберт наверху.

Роберт – его тесть.

– У меня сегодня ужасный день, – говорю я, едва сдерживая слезы.

– А у меня невероятно длинный. Это не может подождать?

– Прощу тебя. Пять минут.

Адам не успевает ответить, как в дверях у него за спиной появляется седовласый мужчина.

– Может быть, ты объяснишь мне, Адам, почему бальзамировочная комната открыта, когда клиент лежит на столе? Я думал, ты бросил курить... – Окинув меня подозрительным взглядом, он замечает половину моего лица в стиле Пикассо и заставляет себя улыбнуться. – Простите, могу я вам чем-то помочь?

– Папа, – говорит Адам, – это Сейдж...

– Макфи, – встречаю я, слегка поворачиваясь, чтобы шрам был меньше виден. – Я репортер из «Мэн экспресс». – Запоздало соображаю, что такое название, скорее, может быть у поезда, чем у газеты. – Я пишу статью – один день из жизни сотрудника похоронного бюро.

Мы с Адамом наблюдаем за тем, как Роберт придиричиво взглядывается на меня. На мне одежда, в которой я работаю в пекарне, – свободная футболка, мешковатые шорты, шлепанцы. Я уверена, ни один уважающий себя журналист под страхом смерти не явился бы на интервью в таком виде.

– Она звонила мне на прошлой неделе, чтобы договориться о встрече, – врет Адам.

– Конечно, – кивает Роберт. – Мисс Макфи, я буду счастлив ответить на любые вопросы, которые поставят в тупик Адама.

Тот заметно расслабляется.

– Пройдемте со мной. – Он берет меня под локоть. Его прикосновение – это шок.

Мы заходим в здание, и пока Адам ведет меня по коридору, я вся дрожу. Он заходит в комнату с правой стороны и закрывает за нами дверь.

На столе лежит старуха, голая, накрытая простыней.

– Адам, – говорю я и сглатываю. – Она...

– Ну она не задремала после обеда, – со смехом отзывается он. – Да ладно тебе, Сейдж. Ты ведь знаешь, чем я зарабатываю на жизнь.

– Я не планировала наблюдать за этим.

– Это ты придумала уловку с репортером. Могла бы сказать ему, что ты коп и тебе нужно отвести меня в участок.

Тут пахнет смертью, холодом и антисептиком. Мне хочется прильнуть к Адаму, но в двери есть окошко, и в любой момент мимо может пройти Роберт или кто-нибудь еще.

Адам мнется:

– Смотри в другую сторону. Потому что мне нужно вернуться к работе, такая жара стоит.

Я киваю и упираюсь взглядом в стену. Слышу, как Адам

гремит металлическими инструментами, а потом начинает жужжать какая-то машинка.

История Джозефа у меня как сунутый в карман и забытый там желудь. Я не хочу делиться ею прямо сейчас, но и не хочу, чтобы она пустила корни.

Сперва мне кажется, что Адам включил пилу, но потом я кошусь уголком глаза и вижу, что он бреет мертвую женщину.

– Зачем ты это делаешь?

Электрические лезвия с рычанием ездят по подбородку.

– Я всех брею. Даже детей. Пушок, как на персике, делает макияж более заметным, а люди хотят, чтобы в памяти у них остался естественный последний образ любимого человека.

Меня зачаровывает размеренность его движений, его сноровка – ничего лишнего. Об этой части жизни Адама я совсем мало знаю, а мне важна любая мелочь о нем, которую я могу забрать с собой.

– А когда людей бальзамируют?

Он поднимает взгляд, удивленный моим интересом.

– После того, как приводят в порядок лицо. Как только жидкость попадает в сосуды, ткани затвердевают. – Адам закладывает кусочек ваты под левое веко старухи, а сверху кладет небольшой пластиковый колпачок, вроде гигантской контактной линзы. – Почему ты пришла, Сейдж? Не из-за того ведь, что вдруг страшно захотела стать похоронных дел мастером. Что с тобой случилось сегодня?

– Люди говорили тебе когда-нибудь такие вещи, которых ты предпочел бы не знать? – вдруг вырывается у меня.

– Большинство людей, с которыми я встречаюсь, уже не могут говорить. – (Я вижу, как Адам вдевает хирургическую нить в изогнутую иглу.) – Но их родственники дуют мне в уши. Обычно они говорят о том, что нужно было бы сказать своей любимой до того, как она умерла. – Он протыкает нижнюю губу под деснами и протягивает иглу через верхнюю к ноздрям. – Полагаю, я для них последняя остановка, понимаешь? Хранилище чужих сожалений. – Адам улыбается. – Похоже на песню группы гóтов, да?

Игла проходит через носовую перегородку в другую ноздрю и обратно в рот.

– Почему возник такой вопрос? – интересуется Адам.

– Сегодня я говорила с одним человеком, и этот разговор просто потряс меня. Я не знаю, что мне теперь делать.

– Может быть, этот человек и не хочет, чтобы ты что-то делала. Просто ему нужно было выговориться.

Но тут все не так просто. Признания, которые выслушивает Адам от родственников покойных, в основном о том, что надо было бы сделать или что они хотели бы сделать, но не успели, а не о том, что они сделали. Когда вам суют в руки гранату с вырванной чекой, вы должны действовать: либо передать ее тому, кто знает, как ее обезвредить, либо вернуть тому, кто сунул ее вам. Потому что если вы этого не сделаете, то взорветесь.

Адам аккуратно завязывает нить, чтобы рот не раскрылся, но выглядел естественно и не выболтал своих секретов.

По пути в полицейский участок я звоню Робене Фенетто – это итальянка семидесяти шести лет, которая, выйдя на пенсию, поселилась в Вестербруке. Хотя у нее нет больше сил работать пекарем полный день, я обращалась к ней пару раз, когда сама валялась с гриппом, чтобы она меня подменила. Я объясняю Робене, какие закваски использовать и где находятся мои таблицы с пекарскими процентами. Это обеспечит достаточный выход продукции, и Мэри меня не уволит.

Я прошу Робену сказать Мэри, что задержусь.

В полиции я не была с тех пор, как у меня в последнем классе старшей школы украли велосипед. Мать отвела меня в участок, чтобы подать заявление. Помню, в тот же самый момент туда доставили отца одной из самых популярных в школе девиц, он был страшно растрепан, и от него несло перегаром, а было всего четыре часа дня. Этот человек возглавлял местную страховую компанию, и его семья, одна из немногих в городе, была достаточно состоятельна, чтобы иметь на участке собственный бассейн. Тогда я впервые поняла, что люди могут быть вовсе не такими, какими кажутся.

Диспетчер в маленьком окошке – очень коротко стриженная девушка с кольцом в носу – и глазом не моргнула при моем появлении.

– Чем я могу вам помочь?

Представьте, что вы приходите в полицию и заявляете: «Кажется, один мой знакомый – нацист». Не прозвучит ли это бредом сумасшедшей?

– Я хотела бы поговорить с детективом, – говорю я.

– О чем?

– Это сложно.

Девушка моргает:

– Попробуйте объяснить.

– У меня есть информация о совершённом преступлении.

Диспетчер колеблется, как будто взвешивает в голове, правду я говорю или вру. Потом записывает мое имя.

– Присядьте.

Там стоит ряд стульев, но я не сажусь, а стою и читаю имена уставших от жизни отцов на листовках под заголовком: «Разыскивается»; ими заполнена огромная доска объявлений. Только на одной – сообщение о занятиях по пожарной безопасности.

– Мисс Зингер?

Я оборачиваюсь и вижу высокого мужчину с короткими седыми волосами и кожей цвета моккачино в исполнении Рокко. На поясе у него – пистолет в кобуре, на шее – бейдж.

– Я детектив Викс, – говорит он и на мгновение задерживает взгляд на моем лице. – Не возражаете, если я приглашу вас пройти внутрь?

Он набирает код на замке, открывает дверь и ведет меня

по узкому коридору в конференц-зал.

– Садитесь. Принести вам чашку кофе?

– Не нужно, – отвечаю я.

Хотя мне и ясно, что я пришла не на допрос, но, когда он закрывает дверь, я чувствую себя пойманной в ловушку.

Шею обдаёт жаром, и я покрываюсь потом. Вдруг детектив решит, что я вру? Начнет задавать дополнительные вопросы? Может, не стоило ввязываться в эту историю. Я ведь на самом деле ничего не знаю о прошлом Джозефа, и даже если он сказал мне правду, что можно сделать, если прошло без малого семьдесят лет?

И тем не менее...

Когда мою бабушку забрали нацисты, сколько немцев закрыли на это глаза, находя своему бездействию такие же оправдания?

– Итак, – произносит детектив Викс. – О чем идет речь?

Я набираю в грудь воздуха:

– Один мой знакомый, вероятно, нацист.

Детектив выпячивает губы:

– Неонацист?

– Нет, нацист времен Второй мировой войны.

– Сколько лет этому парню? – спрашивает Викс.

– Я точно не знаю. За девяносто. Подходящий возраст, в общем, если прикинуть.

– И какие у вас основания предполагать, что он нацист?

– Он показал мне свою фотографию в военной форме.

– Вы уверены, что снимок настоящий?

– Вы считаете, я выдумываю? – Отношение детектива настолько удивляет меня, что я даже встречаюсь с ним взглядом. – Зачем мне это?

– Зачем сотни сумасшедших звонят на горячую линию, которая отображается бегущей строкой в новостях, и сообщают о пропаже детей? – отвечает Викас и пожимает плечами. – Мне человеческую психику не понять.

От обиды шрам у меня начинает гореть.

– Я говорю вам правду.

Для удобства я опускаю факт, что тот же человек просил меня убить его. И что я дала ему повод верить, будто обдумываю такую возможность.

Викас склоняет голову набок, и я вижу, что он уже приходит к определенным выводам – не о Джозефе, а обо мне. Очевидно, я слишком стараюсь спрятать лицо; детектив, вероятно, размышляет, не скрываю ли я чего-то большего.

– В поведении этого человека есть что-то, указывающее на его связь с деятельностью нацистов?

– Свастику на рукаве он не носит, если вы об этом спрашиваете. Но у него немецкий акцент. Он, вообще-то, преподавал немецкий в старшей школе.

– Погодите. Вы говорите о Джозефе Вебере? – интересуется Викас. – Он ходит в мою церковь. Поет в хоре. В прошлом году возглавлял парад Четвертого июля как Гражданин года. Я ни разу не видел, чтобы этот человек комара прихлопнул.

– Может быть, он любит насекомых больше, чем евреев, – спокойно говорю я.

Викс откидывается на спинку стула:

– Мисс Зингер, мистер Вебер сказал что-то такое, что расстроило вас лично?

– Да! Он сказал, что был нацистом!

– Я имею в виду ссору. Непонимание. Может, даже неместный отзыв о вашей... внешности. Что-то, что могло бы оправдать... такое обвинение.

– Мы дружим. Вот почему он признался мне.

– Это возможно, мисс Зингер. Но мы никого не берем под арест за мнимые преступления без основательных причин, которые позволили бы считать этого человека представляющим для нас интерес. Да, он говорит с немецким акцентом и он стар. Но я ни разу не уловил в нем и намек на расовые или религиозные предрассудки.

– И что? По-моему, серийные убийцы часто бывают абсолютно очаровательными в общении с людьми; именно поэтому никто не догадывается, что у них на уме. Вы собираетесь объявить меня сумасшедшей? А расследование проводить и не вздумаете?

– Что он сделал?

Я опускаю глаза:

– Точно не знаю. Вот почему я здесь. Я думала, вы можете мне разобраться.

Викс смотрит на меня долгим взглядом.

– Вот что, мисс Зингер, оставьте-ка мне вашу контактную информацию, – предлагает он и протягивает листок бумаги и ручку. – Я посмотрю, что там к чему, и мы будем на связи.

Не говоря ни слова, я записываю свои контакты. С чего бы кто-то стал верить мне, Сейдж Зингер, проклятому призрак, выходящему из своей пещеры только по ночам? Особенно притом, что Джозеф последние двадцать два года покрывал золотом свою репутацию любимого члена вестербрукского городского сообщества и гуманиста?

Протягиваю листок детективу Виксу и холодно говорю:

– Ясно, что вы не свяжетесь со мной. А выбросите эту бумажку в мусор, как только я выйду за дверь. Но я пришла к вам сюда не с заявлением, что видела у себя на заднем дворе НЛО. Холокост был. Нацисты существовали. И они не растворились в воздухе, когда закончилась война.

– Что случилось почти семьдесят лет назад, – замечает детектив Викс.

– Я думала, для убийств нет срока давности! – С этими словами я выхожу из конференц-зала.

Бабушка подает чай только в стеклянных кружках. Сколько себя помню, она говорила, что это единственный способ пить его по-настоящему, так сервировали чай ее родители, когда она была девушкой. Меня поражает, пока я сижу за столом и наблюдаю, как она деловито снует по кухне со своей палкой – заваривает чай, раскладывает на блюде ругелах, –

то, что, хотя бабушка открыто и просто рассказывает о своем детстве и жизни с моим дедом, есть некий пропуск в хронологии, пробел в годах.

– Это сюрприз, – говорит бабушка. – Приятный, но все же.

– Оказалась поблизости, – вру я. – Как я могла не заглянуть к тебе?

Бабушка ставит блюдо на стол. Она маленькая – ростом всего пять футов, наверное, – хотя я привыкла представлять ее себе высокой. На ней всегда очень красивый жемчужный набор, свадебный подарок деда, и на старой фотографии со свадьбы, которая стоит на каминной полке, бабушка выглядит как кинозвезда – черные волосы завиты крупными локонами, тонкая фигурка затянута в кружева и атлас.

У них с дедом был букинистический магазин – крошечный, с узкими проходами, забитыми сотнями древних томов. Моя мать, всегда покупавшая новые книги, терпеть не могла старинные книги в потертых тканевых переплетах с потрескавшимися корешками. Правда, в этом магазине последних бестселлеров не водилось, но стоило взять в руки какой-нибудь потрепанный том, и вы пролистывали жизнь другого человека. Раньше кому-то тоже нравилась эта история. Кто-то носил эту книгу в рюкзаке, проглатывал ее за завтраком, вытирал со страницы пятно от кофе в парижском кафе, засыпал в слезах, прочтя последнюю страницу. Запах у них в магазине был совершенно особый: влажно-плесневелый с добавлением щепотки пыли. Для меня так пахла история.

Мой дед бы редактором небольшого научного издательства до того, как купил книжный магазин; моя бабушка якобы хотела стать писательницей, хотя за все свое детство я ни разу не видела, чтобы она сочинила нечто более длинное, чем письмо. Но она любила истории, это правда. Сажала меня на стеклянный прилавок рядом с кассой, доставала книгу Алана Милна или Дж. М. Бэрри из запертой на ключ витрины и показывала мне иллюстрации. Когда я подросла, бабушка позволяла мне заворачивать покупки клиентов в коричневую бумагу, которой у нее был целый рулон, и учила перевязывать их бечевкой, как делала сама.

В конце концов мой дед продал магазин застройщику, который бульдозером сровнял с землей множество семейных магазинчиков, чтобы освободить место для «Таргета». Вырученных денег хватило бабушке на безбедное существование даже после смерти деда.

– Ты не случайно оказалась поблизости, – возражает она. – У тебя такой же вид, как у твоего отца, когда он обманывал меня.

Я смеюсь:

– И какой же?

– Будто ты проглотила лимон. Однажды, когда ему было лет пять, он стащил у меня жидкость для удаления лака. Я спросила его, он соврал. Наконец я нашла пузырек у него в ящике с носками и сказала ему об этом. Он закатил истерику. Оказалось, он прочитал этикетку и решил, что это сред-

ство может удалить меня, как кого-то польского<sup>11</sup>, и я исчезну, а потому спрятал бутылочку, пока это средство не сделало свое дело. – Бабушка улыбается. – Я любила этого малыша. – Она вздыхает. – Матери не должны переживать своих детей.

– Пережить родителей тоже не сахар, – отзываюсь я.

Лицо бабушки на мгновение накрывает тень. Потом она подается вперед и обнимает меня:

– Вот теперь ты не лжешь. Я знаю, ты здесь потому, что тебе одиноко, Сейдж. Тут нечего стыдиться. Может быть, теперь мы будем друг у друга.

Те же слова сказал мне Джозеф, понимаю я.

– Тебе нужно подстричься, – заявляет бабушка. – А то тебя и не разглядеть как следует.

Я тихонько фыркаю. Думаю, я лучше пробегу по улице голышом, чем обрежу волосы и выставлю лицо на всеобщее обозрение.

– В том-то и дело, – говорю я.

Бабушка склоняет голову набок:

– Я вот думаю, какое волшебство заставит тебя взглянуть на себя глазами других людей. Может, тогда ты перестанешь жить как чудовище, которое выходит на улицу только с наступлением темноты.

---

<sup>11</sup> «...средство может удалить меня, как кого-то польского» – лак по-английски «polish»; то же слово с прописной буквы означает «польский», а бабушка Сейдж родом из Польши.

– Я пекарь. Мне приходится работать по ночам.

– Да? Или ты выбрала это занятие из-за часов работы?

– Я пришла сюда не для того, чтобы меня распекали по поводу моего карьерного выбора...

– Конечно нет. – Бабушка протягивает руку и гладит мое лицо, плохую его сторону. Задерживает большой палец на рифленном шраме, чтобы показать мне: ее это не беспокоит, а значит, и меня не должно. – А твои сестры?

– Давно с ними не общалась, – бормочу я.

Это слабо сказано. Я активно избегаю разговоров с ними по телефону.

– Ты знаешь, что они тебя любят, Сейдж, – говорит бабушка, и я пожимаю плечами.

Она не может сказать ничего такого, что убедило бы меня в том, что Пеппер и Саффрон не считают меня ответственной за смерть матери.

На духовке срабатывает таймер, и бабушка вынимает из нее халу. Может, она и устранилась от религии, но культурные традиции иудеев по-прежнему блюдет. Нет такой болезни, с которой не справился бы суп с шариками из мацы; ни одна пятница не обходится у нее без выпечки свежего хлеба. Дейзи – сиделка, которую бабушка зовет своей девушкой, замешивает тесто с помощью миксера и оставляет его подниматься, а потом бабушка сплетает его в косу. Потребовалось два года, чтобы бабушка прониклась доверием к Дейзи и передала ей семейный рецепт, тот же, который использую

я в «Хлебе нашем насущном».

– Пахнет хорошо, – говорю я, стремясь сменить тему разговора.

Бабушка бросает первую халу на стол и возвращается по очереди за второй и третьей.

– Знаешь, что я думаю? – говорит она. – Даже когда я не смогу вспомнить свое имя, как печь халы, я не забуду. Мой отец позаботился об этом. Он все время спрашивал меня, когда я возвращалась домой после школы, учила уроки с друзьями или когда мы с ним гуляли по городу: «Минка, сколько сахара? Сколько яиц?» Еще он спрашивал, какой температуры должна быть вода, но это был вопрос с подвохом.

– Теплая, чтобы растворить дрожжи, кипящая, чтобы смешать влажные ингредиенты, холодная, чтобы сбалансировать температуру.

Бабушка оглядывается через плечо и кивает:

– Мой отец был бы счастлив, знай он, что его халы находятся в хороших руках.

Вот подходящий момент, понимаю я и жду, когда бабушка принесет на разделочной доске одну из косиц на стол. Пока она разрезает халу специальным хлебным ножом, от булки валит пар, будто из нее выходит душа.

– Почему вы с дедом не завели пекарню вместо книжного магазина?

Бабушка смеется:

– Твой дед и воду-то вскипятить не умел, не то что бейгель

приготовить. Чтобы печь хлеб, нужно иметь талант. Как у моего отца. Как у тебя.

– Ты почти ничего не рассказывала о своих родителях.

Рука бабушки, держащая нож, начинает дрожать, совсем чуть-чуть. Если бы я не смотрела на нее так пристально, то ничего и не заметила бы.

– Да что про них говорить. – Бабушка пожимает плечами. – Мать следила за домом, а отец был пекарем в Лодзи. Ты это знаешь.

– Что с ними случилось?

– Они давным-давно умерли, – отвечает она, чтобы отвязаться. Протягивает мне кусок халы без масла, потому что, если вы испекли по-настоящему хорошую халу, к ней ничего больше не нужно. – Ах, посмотри-ка! Она могла бы подняться лучше. Мой отец говорил, что хороший хлеб можно есть и завтра, а плохой нужно съесть сразу.

Я беру бабушку за руку. Кожа у нее как тонкая бумага, сквозь которую проступают кости.

– Что с ними случилось? – повторяю я.

Она натужно смеется:

– К чему этот вопрос, Сейдж! Ты, случайно, не пишешь книгу?

Вместо ответа я переворачиваю ее ладонь и мягко отодвигаю рукав блузки, чтобы показался мутный край голубой татуировки.

– Бабушка, в нашей семье не только у меня есть шрамы.

Она отнимает у меня руку и опускает рукав:

– Не хочу говорить об этом.

– Бабушка, я уже не маленькая...

– Нет! – резко отвечает она.

Мне хочется рассказать ей о Джозефе. Спросить об эсэсовцах, которых она знала. Но я понимаю, что не сделаю ни того ни другого.

Не потому, что бабушка не хочет это обсуждать, а оттого, что мне стыдно: я завела дружбу с человеком – готовила для него, болтала и смеялась с ним, – который, может быть, когда-то мучил ее.

– Когда я приехала сюда, в Америку, здесь началась моя жизнь, – говорит бабушка. – А все, что случилось до того... это было с другим человеком.

Если моя бабушка смогла возродиться к новой жизни, почему Джозеф Вебер не смог?

– Как ты это делаешь? – мягко спрашиваю я, и теперь мой вопрос не только о ней и Джозефе, но и обо мне. – Как тебе удается вставать каждое утро и не вспоминать?

– Я никогда не говорила, что не помню, – поправляет меня бабушка. – Я говорила, что предпочитаю забыть. – Вдруг она улыбается, обрезая нить разговора и вместе с ней мой следующий вопрос. – А теперь моя прекрасная внучка вряд ли приехала сюда, чтобы обсуждать давнюю историю, верно? Расскажи-ка мне о пекарне.

Я пропускаю мимо ушей комплимент «прекрасная» и со-

общаю:

– Я испекла хлеб с ликом Иисуса внутри. – Это первое, что приходит мне в голову.

– Правда? – Бабушка смеется. – Кто это сказал?

– Люди, которые верят, что Бог может проявить себя в каравае хлеба.

Бабушка выпячивает губы:

– Было время, когда я могла увидеть Бога в одной крошке. – (Я понимаю, что она протягивает мне оливковую ветвь, дает увидеть кусочек ее прошлого. Сижу тихо-тихо, чтобы не спугнуть ее, вдруг еще что-нибудь скажет.) – Знаешь, этого нам не хватало больше всего. Не кроватей, не наших домов, даже не матерей. Мы говорили о еде. Жареная картошка и грудинка, пироги, бабки. Тогда я могла бы жизнь отдать за отцовскую халу, только что вынутую из печи.

Вот почему бабушка печет по четыре штуки каждую неделю, хотя сама и одну не может съесть целиком. Она и есть-то их не собирается, просто хочет позволить себе роскошь раздать остальное тем, кто все еще голоден.

Начинает звонить мой мобильный, и я морщусь. Вероятно, это Мэри, сейчас устроит мне головомойку за то, что вместо меня в пекарню на ночную смену пришла Робена. Однако, вынув телефон из кармана, я вижу, что номер незнакомый.

– Это детектив Викс. Я хочу поговорить с Сейдж Зингер.

– Ничего себе, – говорю я, узнав голос. – Не ожидала, что

вы мне позвоните.

– Я немного покопался в этом деле, – отвечает он. – Мы пока не можем вам помочь. Но если вы хотите обратиться с запросом куда-нибудь, я бы предложил вам ФБР.

ФБР. Это гигантский шаг вперед в сравнении с местным полицейским участком. Сотрудники ФБР поймали Джона Диллинджера<sup>12</sup> и Розенбергов<sup>13</sup>. Они обнаружили отпечатки пальцев, по которым уличили убийцу Мартина Лютера Кинга-младшего. Эти дела – важнейшие для национальной безопасности и неотложные, а не те, что томились в забвении десятками лет. Фэбээровцы, вероятно, обсмеют меня по телефону раньше, чем я успею закончить свои объяснения.

Поднимаю глаза и вижу бабушку, она стоит у разделочного стола и заворачивает халу в фольгу.

– Какой номер? – спрашиваю я.

Чудо, что я возвращаюсь в Вестербрук, не слетев с дороги, так я вымоталась. Захожу в пекарню, отперев дверь своим ключом, и застаю Робену спящей – она сидит на гигантском мешке с мукой, положив щеку на деревянную столешницу. Радует, что на стеллаже охлаждаются хлебы и из печи тянет запахом выпечки.

---

<sup>12</sup> *Джон Диллинджер* – грабитель банков, в первой половине 1930-х годов враг общества номер 1 по классификации ФБР.

<sup>13</sup> *Супруги Юлиус и Этель Розенберги* – американские коммунисты, обвиненные в шпионаже в пользу Советского Союза и казненные за это в 1953 году.

– Робена, – говорю я и мягко встряхиваю ее за плечо. – Я вернулась.

Она садится прямо:

– Сейдж! Я на минутку задремала...

– Это ничего. Спасибо за помощь. – Я надеваю передник и завязываю его на поясе. – Как Мэри, по десятибалльной шкале?

– Около двенадцати. Она сегодня уработалась, потому что ждет завтра наплыва клиентов из-за Иисусова Хлеба.

– Аллилуйя, – безрадостно возглашаю я.

По пути домой я пробовала набрать номер местного офиса ФБР, но там мне ответили, что я должна обратиться в отделение, которое является частью Министерства юстиции в Вашингтоне, и дали другой номер. Но очевидно, отдел по правам человека и специальным расследованиям работает по расписанию банков. Голосовой ответчик посоветовал мне набрать другой номер, если дело срочное.

Трудно судить, насколько неотложное у меня дело, учитывая, как долго Джозеф хранил свою тайну.

А потому я решила закончить с выпечкой, переложить хлеб в витрины и уйти до появления Мэри, которая будет открывать магазин. Я позвоню из дому, когда останусь одна.

Робена показывает мне таймеры, которые расставила по кухне: одни отмеряют время выпекания, другие показывают, сколько еще бродить и выстаиваться тесту, третьи – сколько подходить сформованным хлебам. Почувствовав, что все

успеваю, я провожаю Робену до выхода, благодарю и закрываю за ней дверь.

Взгляд мой сразу же падает на Иисусов Хлеб.

Впоследствии я не смогу объяснить Мэри, почему сделала это.

Хлеб зачерствел, он твердый как камень, мозаика из пятен и отверстий, создававшая лик, уже блекнет. Я беру лопату, которой вынимаю и ставлю хлеба в дровяную печь, и бросаю Иисусов Хлеб в разинутый зев топки, прямо на красные языки пламени, пылающего внутри.

Робена приготовила багеты и булочки; осталось еще много чего испечь до зари. Но, вместо того чтобы действовать по заведенному распорядку, я вношу изменения в меню сегодняшнего дня. Производя подсчеты в голове, я отмеряю сахар, воду, дрожжи, растительное масло, соль и муку.

Закрываю глаза и вдыхаю сладковатый мучной запах. Представляю себе магазин с колокольчиком над дверью, который звякает при входе покупателя; музыкальный звук падающих в кассу монет, который может заставить девушку, уткнувшую нос в книгу, поднять голову. Остаток ночи я пеку по одному рецепту, так что к моменту, когда первые лучи солнца начинают мерцать над горизонтом, полки в «Хлебе нашем насущном» плотно забиты узловатыми косицами прадедушкиных хал, их великое множество, просто невозможно себе представить, что такое голод.

На рынке я все время проводила в полудреме. Я не спала по-настоящему с тех пор, как похоронила отца, без колоколов и фанфар, о которых он в шутку мечтал, а тихо и скромно, на маленьком участке земли позади нашего дома. Однако моя бессонница не была порождена горем. Это было по необходимости.

Денег на уплату налогов нет. Мы не накопили никаких сбережений, доход нам приносила только продажа свежеспеченного хлеба. Раньше отец пек, а я ходила на рынок. Но теперь я осталась одна.

Я работала без отдыха. По ночам, засучив рукава, формовала хлеб и, пока он поднимался, замешивала новое тесто; по утрам, когда солнце, как катастрофа, вставало над горизонтом, вынимала последние хлебы из кирпичной печи. Наполняла ими корзину и шла на рынок, где с трудом держалась на ногах и силилась не заснуть, пока продавала свой товар.

Сколько протяну так, я не знала. Но разве можно было позволить Баруху Бейлеру забрать у меня единственное, что осталось, – дом моего отца и его дело.

Однако на рынок приходило все меньше покупателей. Это было слишком опасно. Тело моего отца стало одним из трех, найденных за эту неделю на окраинах городка, среди них – один маленький ребенок, который ушел в лес да так и не вернулся. Все убитые были обезображены и разодраны одинаково, будто каким-то хищным зверем. Напуганные го-

рожане предпочитали жить за счет собственных огородов и консервов. Вчера я видела всего дюжину покупателей; сегодня пришли шестеро. Даже некоторые торговцы предпочли закрыть лавки и сидеть дома. Рынок стал мрачным, недобрый местом, ветер со свистом проносился по булыжной мостовой, словно предупреждал об опасности.

Я открыла глаза и увидела Дамиана; он будил меня, встряхивая за плечо.

– Грeziшь об мне, дорогая? – Он протянул руку, задев мое лицо, и отломил горбушку от багета. Закинул ее в рот. – Ммм... Ты почти такой же славный пекарь, каким был твой отец. – На мгновение сочувствие изменило черты его лица. – Я сожалею о твоей утрате, Ания.

Другие покупатели присоединились к его словам.

– Спасибо, – буркнула я.

– А я вовсе не сожалею, – заявил Барух Бейлер, подошел и встал за спиной капитана. – Так как это сильно уменьшило мои шансы получить с него налоги.

– Еще не конец недели, – в панике пролепетала я.

Куда я пойду, если он выбросит меня на улицу? Я видела женщин, которые торговали собой, бродили по темным закоулкам, как тени, и заглядывали прохожим в глаза. Я могла бы принять предложение Дамиана и выйти за него замуж, но это была бы всего лишь иная форма сделки с дьяволом. Но если я останусь без дома, сколько времени понадобится зверю, который задирает жителей нашей деревни,

*чтобы добраться до меня?*

*Краем глаза я увидела, что кто-то приближается к нам. Это был новый человек в городе, который водил на кожаном поводке своего брата. Он прошел мимо, даже не взглянув на хлеб, и остановился перед пустым деревянным прилавком, где обычно раскладывал свои товары мясник. Когда незнакомец оглянулся, я почувствовала, будто у меня под ребрами вспыхнул огонь.*

*– Где мясник? – спросил мужчина.*

*– Он сегодня не торгует, – тихо ответила я.*

*Этот человек был моложе, чем мне показалось сперва, вероятно, всего на пару лет старше меня. Глаза у него были самого невероятного цвета, какой мне доводилось видеть, – золотистые и сияющие, будто подсвечены изнутри. Он покраснелся, на щеках выступили яркие пятна. Неровная каштановая челка падала на лоб.*

*На незнакомце была только белая рубашка, та же, что была под курткой, в которой он появился на рыночной площади в прошлый раз. Я подумала: на что же он будет выменивать продукты сегодня?*

*Мужчина молчал и, прищурив глаза, смотрел на меня.*

*– Торговцы разбегаются со страха, – сказал Барух Бейлер. – Как и все в этом богом забытом городишке.*

*– Не у всех есть железные ворота, за которыми можно укрыться от диких зверей, – заметил Дамиан.*

*– Или держать их, – буркнула я себе под нос, но Бейлер*

услышал.

– Десять золотых, – прошипел он. – К пятнице.

Дамиан сунул руку за полу своего мундира и вытащил кожаный кошелек. Отсчитал серебряные монеты и бросил их Бейлеру со словами:

– Долг уплачен.

Бейлер опустил на колени и стал подбирать деньги. Потом встал и пожал плечами.

– До следующего месяца. – Он прошествовал к своему особняку, запер за собой ворота и скрылся в массивном каменном доме.

Незнакомец и его брат наблюдали за этой сценой, стоя у прилавка мясника.

– Ну? – Дамиан посмотрел на меня. – Отец не научил тебя манерам?

– Спасибо.

– Не хочешь ли ты как-нибудь еще выразить свою признательность? Твой долг Бейлеру уплачен. Но теперь ты в долгу передо мной.

Сглотнув, я встала на цыпочки и поцеловала его в щеку.

Дамиан схватил мою руку и прижал к своему причинному месту. Я попыталась отдернуть ее, а он впился ртом в мои губы.

– Ты знаешь, я могу взять, что хочу, когда пожелаю, – тихо проговорил он, его руки сжали мою голову и надавили на виски так сильно, что я перестала соображать, только

слушала. – Я предлагаю тебе выбор по доброте сердечной.

Только что его лицо маячило передо мной, и вот его уже нет. Я упала, ощутив под ногами холодные камни мостовой, а мужчина с золотистыми глазами оттащил от меня Дамиана и повалил его наземь.

– Она уже выбрала, – процедил он сквозь зубы, сопровождая свои слова ударами по лицу капитана.

Я отползла в сторонку от их схватки, мальчик в кожаной маске таращился на меня.

Думаю, мы с ним одновременно сообразили, что кожаный поводок болтается свободно.

Мальчик откинул назад голову и побежал, топот ног беглеца эхом пистолетных выстрелов разнесся над пустой площадью.

Его брат на миг отвлекся от борьбы. Этого момента замешательства хватило, чтобы Дамиан нанес ему сильный удар. Голова незнакомца резко откинулась назад, но мой защитник, пошатываясь, поднялся на ноги и кинулся за мальчиком.

– Беги, беги, – сказал Дамиан, утирая кровь с губ. – Но тебе не спрятаться.

# Лео

Женщина, говорящая со мной по телефону, задыхается от волнения.

– Я много лет пыталась отыскать вас, – говорит она.

Это для меня первый красный флажок. В наше время людей не так уж трудно найти. Вы звоните в Министерство юстиции, объясняете, что вам нужно, и вас отправляют в отдел по правам человека и специальным расследованиям. Но мы принимаем все звонки и относимся к ним серьезно. Поэтому я прошу женщину назвать свое имя.

– Миранда Кунц, – говорит она. – Но это моя фамилия в замужестве, а в девичестве я была Шульц.

– Итак, миссис Кунц... Я вас очень плохо слышу.

– Мне приходится говорить шепотом, – объясняет она. – Он подслушивает. Ему всегда удается зайти в комнату, как только я начинаю говорить людям о том, кто он на самом деле...

Она продолжает лить воду, я жду, когда прозвучит слово «нацист» или хотя бы «Вторая мировая». Наш отдел ведет расследования деятельности людей, совершивших преступления против человечности, тех, кто участвовал в геноциде, пытках, военных преступлениях. Мы настоящие охотники на нацистов, хотя совсем не такие гламурные, какими нас изображают в фильмах и на телевидении. Я не Дэниел Крейг,

Вин Дизель или Эрик Бана, а всего лишь старина Лео Штайн. У меня нет пистолета; мое любимое оружие – это историк по имени Джиневра, она говорит на семи языках и никогда не упускает случая сказать, что мне пора бы постричься или что мой галстук не подходит к рубашке. Я занимаюсь работой, выполнять которую все труднее с каждым днем, так как поколение, совершавшее преступления Холокоста, вымирает.

Пятнадцать минут я слушаю Миранду Кунц, которая объясняет, как ее преследует кто-то из близких и сперва она думала, что это ФБР послало его вместо беспилотника, чтобы убраться. Еще один красный флажок. Во-первых, ФБР не занимается убийствами. А во-вторых, если бы они действительно хотели ее убить, она уже была бы мертва.

– Знаете, миссис Кунц, – говорю я, когда она на миг умолкает, чтобы сделать вдох, – я не уверен, что вы позвонили в нужный вам отдел...

– Если вы потерпите, то все обретет смысл, – обещает она.

Не в первый раз я удивляюсь, как парень вроде меня – тридцать семь лет, окончил Школу права в Гарварде лучшим на курсе – променял партнерство и умопомрачительный заработок в бостонской юридической фирме на зарплату бюджетника и карьеру заместителя начальника отдела по правам человека и специальным расследованиям (ПЧСР). В параллельной вселенной я расследовал бы преступления белых воротничков, вместо того чтобы подкапываться под бывших эсэсовцев, которые мрут за пару дней до того, как мы себе-

рем достаточное количество документов, чтобы экстрадировать их. Или, как сейчас, выслушивать миссис Кунц.

Но ведь мне потребовалось провести совсем немного времени в мире корпоративного права, чтобы понять: в суде правда – как запоздало пришедшая в голову мысль. На самом деле истина – это запоздалая мысль в большинстве испытаний. Но было шесть миллионов человек, которым лгали во время Второй мировой войны, и кто-то должен выяснить правду ради них.

– ...И вы слышали о Йозефе Менгеле?

Тут я наостряю уши. Разумеется, я слышал о Менгеле, печально известном Ангеле Смерти из Освенцима-Биркенау, главном враче, который ставил эксперименты на людях и, встречая поступающих в лагерь заключенных, отправлял одних направо – на работы, других налево – в газовые камеры. Хотя исторически мы знаем, что Менгеле не мог встречать каждый транспорт, почти каждый выживший после Освенцима, с которым мне довелось говорить, утверждал, что его или ее партию заключенных встречал именно Менгеле, – не важно, в какое время дня происходило прибытие. Об Освенциме написано очень много, и бывшие заключенные иногда смешивают свой личный опыт с этими сведениями. Я не сомневаюсь, они искренне убеждены, что по прибытии в концлагерь видели именно Менгеле, но каким бы чудовищем ни был этот человек, все же ему иногда нужно было спать. А значит, заключенных вместо него встречали другие мон-

стры.

– Считается, что Менгеле сбежал в Южную Америку, – говорит миссис Кунц.

Я подавляю вздох. Вообще-то, я знаю, что он жил и умер в Бразилии.

– Менгеле жив, – шепчет миссис Кунц. – Он перевоплотился в моего кота. И я не могу повернуться к нему спиной или уснуть, потому что боюсь, он убьет меня.

– Боже правый! – бормочу я.

– Конечно, – соглашается миссис Кунц. – Я думала, что беру милого маленького котика из приюта, но однажды утром проснулась и увидела у себя на груди кровоточащие царапины...

– Со всем уважением к вам, миссис Кунц, это преувеличение – думать, что Йозеф Менгеле превратился в кота.

– Но эти царапины, – мрачно произносит она, – были в форме свастики.

Я закрываю глаза.

– Может, вам просто завести какое-нибудь другое животное, – предлагаю я.

– У меня была золотая рыбка. Мне пришлось спустить ее в унитаз.

Углубляться в это страшновато, но все же я спрашиваю:

– Почему?

Женщина мнется:

– Скажем просто: у меня есть доказательства, что Гитлер

тоже прошел реинкарнацию.

Мне удастся отделаться от нее, сказав, что я попрошу знакомого историка заняться ее делом – и это правда, я передам этот запрос Джиневре в следующий раз, когда она меня достанет и мне захочется ей отомстить. Но только я вешаю трубку, закончив разговор с Мирандой Кунц, как секретарша снова вызывает меня звонком.

– Сегодня не ваша фаза Луны, что ли? – говорит она. – У меня на проводе еще одна. Местный офис ФБР отправил ее сюда.

Я смотрю на кипу документов, лежащих на столе, – отчеты, принесенные Джиневрой. Дотащить подозреваемого до суда в моем случае – длительная и трудоемкая экспедиция, которая зачастую оказывается бесплодной. Последнее дело, которое нам удалось довести до вынесения приговора, завершилось в 2008-м, и ответчик умер в конце судебного процесса. Мы действуем совсем не так, как полиция. Те видят преступление и ищут ответ на вопрос: «Кто это сделал?» Мы же начинаем с имени, роемся в базах данных и ищем людей, живущих под таким же именем, а потом выясняем, чем занимался этот человек во время войны.

У нас нет недостатка в именах.

Я снова беру трубку:

– Лео Штайн. Слушаю.

– Ммм... – мямлит какая-то женщина. – Я не уверена, что звоню куда нужно...

– Я скажу вам, если вы объясните причину своего звонка.

– Один мой знакомый, возможно, был офицером СС.

В нашем отделе мы выделяем такие звонки в категорию: «Мой сосед – нацист». Обычно это чертов сосед, который пинает вашу собаку, когда та забегает на его участок, и звонит в мэрию, когда листья с вашего дуба падают к нему на двор. У него европейский акцент, он носит длинное кожаное пальто и имеет немецкую овчарку.

– А как вас зовут?

– Сейдж Зингер, – говорит женщина. – Я живу в Нью-Гэмпшире, и он тоже.

Это заставляет меня сесть немного прямее. Нью-Гэмпшир – отличное местечко, чтобы спрятаться, если ты нацист. Никому в голову не придет совать нос в Нью-Гэмпшир.

– Как зовут этого человека? – спрашиваю я.

– Джозеф Вебер.

– И вы думаете, что он был офицером СС, так как?..

– Он мне сам об этом сказал, – отвечает женщина.

Я откидываюсь на спинку стула:

– Он сказал вам, что был нацистом?

За десяток лет, что я здесь работаю, это у меня первый случай. Моя работа всегда состояла в том, чтобы счищать маскировочные слои с преступников, которые думают, что через почти семьдесят лет давнишние убийства сойдут им с рук. Никогда обвиняемый добровольно не признавался мне в содеянном, пока я не припирал его к стенке неопровержи-

мыми доказательствами и у него не оставалось другого выбора, кроме как сказать правду.

– Мы... приятели, – продолжает Сейдж Зингер. – Он хочет, чтобы я помогла ему умереть.

– Как Джек Кеворкян?<sup>14</sup> Он неизлечимо болен?

– Нет. Совсем наоборот – вполне здоров для человека в его возрасте. Он считает, в этом есть некая справедливость, что он просит меня поучаствовать, так как я из еврейской семьи.

– И?..

– Это имеет значение?

Не имеет. Я еврей, но половина сотрудников нашего отдела – нет.

– Он упоминал, в каком лагере был?

– Он использовал немецкое слово... Тотен... Отен... что-то там.

– Totenkopfverbände? – высказываю догадку я.

– Да!

В переводе это означает «отряд „Мертвая голова“». Это не место службы, а подразделение СС, которое охраняло концентрационные лагеря Третьего рейха.

В 1981 году мой отдел выиграл судьбоносное дело: Федоренко против Соединенных Штатов. Верховный суд решил – мудро, по моему скромному мнению, – что каждый,

---

<sup>14</sup> Джек Кеворкян (1928–2011) – американский врач армянского происхождения, популяризатор эвтаназии.

кто был охранником в нацистском концлагере, неизбежно принимал участие в совершении нацистами преступлений, которые преследуются по закону. Лагеря исполняли разные функции, и для их существования каждый участник цепочки должен был выполнять свою часть общего дела. Если бы кто-то уклонился от службы, весь аппарат уничтожения остановился бы. Поэтому на самом деле не важно, что совершил или чего не совершал этот конкретный человек, – действительно он нажимал на спусковой крючок или заправлял «Циклоном Б» газовые камеры, – подтверждения его членства в отряде СС «Мертвая голова» и службы в концентрационном лагере достаточно, чтобы возбудить против него дело.

Разумеется, это все еще далекое от реальности предположение.

– Как его зовут? – повторяю я вопрос.

– Джозеф Вебер.

Я прошу ее произнести имя по буквам, записываю в блокнот и подчеркиваю двумя линиями.

– Он сказал что-нибудь еще?

– Показал мне свою фотографию. В форме.

– Как она выглядела?

– Эсэсовская форма, – говорит женщина.

– И вы определили это, потому что?..

– Ну, она такая, как показывают в фильмах, – признается моя собеседница.

Тут есть два возражения. Я не знаю Сейдж Зингер. Мо-

жет, она только что сбежала из психушки и выдумала всю эту историю. И с Джозефом Вебером я незнаком, а по нему, может статья, тоже дурдом плачет. К тому же за десяток лет я ни разу не получал от обычного гражданина подобно-го звонка с сообщением о нацисте, который вдруг сам объявил о себе. Большинство наводок для расследований мы получаем от адвокатов, которые представляют в бракоразводных процессах женщин, надеющихся приписать своим мужьям – определенного возраста и родом из Европы – нацистское прошлое. Представьте, как это сработает в их пользу, если адвокату удастся убедить судью в жестоком обращении супруга с его клиенткой. И всегда даже такие обвинения оказываются полной ерундой.

– Этот снимок у вас? – спрашиваю я.

– Нет, – отвечает она. – У него.

Разумеется.

Я потираю лоб.

– Мне нужно знать... у него есть немецкая овчарка?

– Такса.

– Это было бы мое второе предположение, – бормочу я. –

Слушайте, давно вы знакомы с этим Джозефом Вебером?

– Около месяца. Он стал приходить на занятия психотерапевтической группы скорби, которые я посещаю после смерти матери.

– Мне грустно это слышать, – автоматически произношу я, будучи уверен, что моя собеседница рассчитывает на со-

чувствие. – Значит, нельзя утверждать, что вы хорошо понимаете этого человека и можете объяснить его мотивы, зачем ему наговаривать на себя...

– Боже, да что с вами со всеми?! – взрывается женщина. – Сперва копы, потом ФБР... Почему бы вам, по крайней мере, не прислушаться к моим словам? Откуда вы знаете, что он соврал мне?

– Потому что в таком поведении нет смысла, мисс Зингер. С чего вдруг человек, который успешно скрывался полвека, сбросит с себя маску?

– Я не знаю, – честно отвечает она. – Чувство вины заело? Боится Страшного суда? Или просто устал. Жить во лжи, понимаете?

Этими словами она подцепляет меня на крючок. Потому что это так по-человечески. Величайшую ошибку совершают люди, когда, думая о нацистских военных преступниках, представляют их всех чудовищами до, во время и после войны. Они не такие. Когда-то это были обычные люди с вполне сформированной совестью, которые сделали неправильный выбор и всю оставшуюся жизнь по возвращении к мирному существованию вынуждены придумывать себе оправдания.

– Вы, случайно, не знаете дату его рождения? – спрашиваю я.

– Я знаю, что ему за девяносто...

– Что ж, мы попытаемся проверить его имя и посмотрим, что из этого выйдет. Собранные нами сведения неполны, но

у нас одна из лучших в мире баз данных, ее собирали по разным архивам целых тридцать лет.

– А потом что?

– Если мы получим подтверждение или по какой-то другой причине решим, что тут есть основания для подачи заявления, я попрошу вас встретиться с моим главным историком Джиневрой Астанопулос. Она задаст вам ряд вопросов, которые помогут нам продвинуться дальше в расследовании. Но должен предупредить, мисс Зингер, хотя к нам поступают тысячи звонков от граждан, ни один из них пока ни к чему не привел. Вообще-то, один привел, еще до создания этого отдела в 1979 году, тогда офис прокурора США в Чикаго начал процесс против предполагаемого преступника, который на поверку оказался не только не виновным, но еще и жертвой нацистов. С тех пор ни один сигнал, полученный нами от граждан, не повлек за собой судебного разбирательства.

Сейдж Зингер мгновение молчит, а потом изрекает:

– Тогда, по-моему, вам пора засучить рукава.

Учитывая все обстоятельства, можно считать, что Майклу Томасу невероятно повезло. Заключение концлагеря для евреев, он сбежал от нацистов и присоединился к Французскому сопротивлению, был членом боевого спецподразделения, а потом сотрудничал с американской военной контрразведкой. В последнюю неделю Второй мировой войны он получил сведения о колонне грузовиков под Мюнхеном, кото-

рая должна была везти какой-то чрезвычайно важный груз. Прибыв на склад бумажной фабрики во Фраймане, теперь это часть Мюнхена, он обнаружил там кипы документов, которые нацисты планировали уничтожить: личные дела более десяти миллионов членов нацистской партии по всему миру.

Эти документы использовали в ходе Нюрнбергского процесса и после него для идентификации, обнаружения и судебного преследования военных преступников. Этот архив – первое, к чему обращаются историки, работающие со мной в отделе по правам человека и специальным расследованиям. Нельзя утверждать, что если мы ничего не выудим из него по имени человека, значит тот не был нацистом, но наличие этого массива данных все равно здорово упрощает дело.

Я застаю Джиневру за ее столом:

– Мне нужно, чтобы ты проверила одно имя.

После объединения Германии в девяностых Соединенные Штаты вернули Берлинскому центру документации главный архив СС и Нацистской партии, который был захвачен американской армией после Второй мировой войны... но прежде всё до последней бумажки было переснято на микрофильмы. Среди документов Берлинского центра и тех, что стали доступными после распада СССР, Джиневра наверняка откопает что-нибудь, я уверен.

Если, конечно, тут есть что откапывать.

Она поднимает на меня глаза:

– Ты капнул кофе на галстук, – а потом вытаскивает ка-

рандаш из птичьего гнезда свернутых на макушке кудрявых желтых волос. – Лучше смени его перед свиданием.

– Откуда ты знаешь, что у меня свидание?

– Твоя мать звонила мне сегодня утром и просила вытолкать тебя с работы силой, если ты все еще будешь здесь в половине седьмого.

Ничего удивительного. Какая еще система связи способна распространять новости с такой умопомрачительной скоростью, как еврейская семья!

– Напомни, чтобы я убил ее, – говорю я Джиневре.

– Не могу, – задумчиво произносит она. – Меня привлекут за соучастие. – Она улыбается и смотрит мне в глаза поверх очков. – К тому же, Лео, твоя мама – это глоток свежего воздуха. Целыми днями я читаю о людях, которые жаждали мирового господства и утверждали свое расовое превосходство. В сравнении с этим ожидание внуков – такая прелесть.

– У нее есть внуки. Трое, благодаря моей сестре.

– Ей не нравится, что ты женат на своей работе.

– Когда я был женат на Диане, ей это тоже не слишком нравилось, – парирую я.

Прошло уже пять лет после моего развода, и, должен признать, худшим во всем этом было то, что пришлось сказать матери: «Ты была права». Женщина, которую я считал девушкой своей мечты, оказалась неподходящей для меня.

Недавно я столкнулся с Дианой в метро. Она снова вышла замуж, родила ребенка и ждет второго. Мы обменива-

лись любезностями, когда у меня зазвонил телефон, сестра спрашивала, приду ли я на день рождения племянника в воскресенье. Она услышала прощальные слова, сказанные мною Диане. Часа не прошло, как мать позвонила мне, чтобы отправить на свидание с незнакомой женщиной.

Я же говорил, еврейская семейная сеть.

– Мне нужно, чтобы ты пробила одно имя, – повторяю я.

Джиневра берет у меня из руки листок со словами:

– Уже шесть тридцать шесть. Не заставляй меня звонить твоей матери.

Я возвращаюсь к своему столу, чтобы взять портфель и ноутбук. Оставить их на работе – все равно что уйти домой без руки или ноги. Инстинктивно тянусь рукой к кобуре на поясе, проверяю, на месте ли мой пейджер. Присаживаюсь на секунду и забиваю в Google имя Сейдж Зингер.

Разумеется, я регулярно пользуюсь поисковыми системами. В основном для того, чтобы проверить, не является ли кто-то (Миранда Кунц, например) полным психом. Но узнать что-нибудь о Сейдж Зингер мне захотелось из-за ее голоса.

Он дымный. Звучит как первый осенний вечер, когда ты зажигаешь огонь в камине и выпиваешь бокал портвейна, а потом отрубашешься, держа на коленях собаку. Собаки у меня нет, да и портвейн я не пью, но вы поняли, что я имею в виду.

Из-за интереса к Сейдж Зингер, если не по другой причине, мне приходится выбегать из дверей офиса, чтобы успеть

на это чертовое «свидание вслепую». Хотя голос у Сейдж молодой, она вполне может оказаться какой-нибудь старой развалиной, ведь, по ее словам, они с этим Джозефом Вебером приятели. Мать ее недавно умерла, вероятно, в почтенном возрасте. А эта хрипотца в голосе может свидетельствовать о многолетнем пристрастии к курению.

Единственной Сейдж Зингер в Нью-Гэмпшире, которая выскочила в поиске, оказалась пекарь из маленького магазинчика с кафе. Рецепт ее ягодных пирогов напечатан в местном журнале в статье о летнем изобилии. Ее имя также упомянуто в газете, где помещено объявление об открытии Мэри Деанджелис новой пекарни.

Кликаю на ссылку в новостях и нахожу видео с местного телеканала, загруженное только вчера. «Сейдж Зингер, – слышен за кадром голос репортерши, – испекла Иисусов Хлеб».

Что?

Сюжет снят любительской камерой – на нем женщина с завязанными в хвост волосами старательно отворачивается от объектива. Я замечаю, что щека у нее испачкана мукой, после чего героиня репортажа скрывается из виду.

Она не такая, как я себе представлял. Когда в наш отдел звонят обычные граждане, это, как правило, говорит мне больше о них самих, чем о тех, кого они обвиняют. Эти люди жаждут разрешения какого-то конфликта, обижены, ищут внимания. Но чутье подсказывает мне: в случае с Сейдж

Зингер все иначе.

Может, Джиневре удастся что-нибудь накопать. Если мисс Зингер смогла удивить меня один раз, вдруг последует и второй?

В моей машине, я уверен, стоит последний в мире проигрыватель для восьмитрековых кассет. Сидя в пробке на Кольцевой дороге, я слушаю группы *Bread* и *Chicago*. Мне нравится думать, что у всех вокруг в машинах восьмитрековые кассетники, что годы отмотались назад, в более простые времена. Понимаю, как это глупо, учитывая, насколько компактнее стал мир в результате развития технологий и как выиграл от этого в том числе и мой отдел. Но иметь восьмитрековый кассетник теперь не так уж странно, это ретро.

Размышляю об этом и о том, сообщить ли своей прекрасной незнакомке, какой я модный парень – покупаю музыкальные записи на eBay вместо iTunes. В последний раз, когда я ходил на свидание (один коллега познакомил меня с кузиной своей жены), я весь обед говорил о деле Александраса Лилейкиса, так что бедная женщина сослалась на головную боль и уехала домой на метро без десерта. По правде сказать, говорун из меня никудышный. Я могу обсуждать детали геноцида в Дарфуре, но большинство американцев, вероятно, не смогут даже назвать страну, где это происходит. (Это Судан, к вашему сведению.) С другой стороны, разговоры о футболе мне недоступны, не смогу я попотчевать вас и сю-

жетом последнего прочитанного романа. Кто с кем встречается в Голливуде, я тоже не в курсе. Мне до этого нет дела. На свете есть столько вещей гораздо более важных.

Проверяю название ресторана в заметках в календаре пейджера и вхожу внутрь. Сразу видно, это одно из тех мест, где подают «дорогую» еду – закуски размером со шляпку гриба, около каждого блюда в меню написаны непроизносимые названия ингредиентов, что заставляет вас удивляться: кто только выдумывает все это? Молоки трески и пыльца дикого фенхеля, бычьи щечки, меренговая крупка и пепельный уксус.

Я называю метрдотелю свое имя, и он ведет меня к столику в дальнем конце зала. Тут так темно, что я сомневаюсь, смогу ли определить, моя «подружка» вообще симпатичная или нет. Она уже сидит на месте, и, когда мои глаза привыкают к недостатку света, я замечаю, что, да, она вполне ничего себе, кроме волос. Они сильно взбиты спереди, будто она пыталась по-модному замаскировать следы энцефалита.

– Вы, должно быть, Лео, – с улыбкой говорит женщина. – Я Ирен.

На ней много разных серебряных побрякушек, несколько застряли в ложбинке между грудей.

– Бруклин? – высказываю догадку я.

– Нет. И-рен, – повторяет она более медленно.

– Я не о том... Я имел в виду ваш акцент... Вы из Бруклина?

– Джерси, – говорит она. – Ньюарк.

– Мирровая столица угонщиков автомобилей. Вы знаете, что там крадут больше машин, чем в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, вместе взятых?

Ирен смеется. Ее смех звучит как дыхание с присвистом.

– А моя мать беспокоится, что я живу в округе Принс-Джордж.

Подходит официант, чтобы протараторить, какие у них есть спецпредложения, и поинтересоваться, что мы будем пить. Я заказываю вино, о котором ничего не знаю. Мой выбор основан на том, что оно не самое дорогое в списке и не самое дешевое, чтобы самому не показаться дешевкой.

– Это как-то странно, да? – говорит Ирен и то ли подмигивает мне, то ли ей в глаз что-то попало. – Наши родители знакомы?

Мне объяснили так: мастер педикюра, к которому ходит моя мать, – дядя Ирен. Не то что бы мама и ее отец выросли в соседних домах.

– Странно, – соглашаюсь я.

– Я переехала сюда по работе и пока никого здесь не знаю.

– Это прекрасный город, – автоматически произношу я, хотя сам в это не совсем верю.

Движение на улицах сумасшедшее, люди через день из-за чего-нибудь протестуют, так что вы быстро перестаете быть идеалистом и поддерживать общественные порывы к лучшему, когда вам нужно куда-нибудь поспеть вовремя, а все до-

роги перекрыты.

– Кажется, мама говорила мне, но я не могу вспомнить, чем вы занимаетесь.

– Я сертифицированный специалист по подгонке бюстгалтеров, – отвечает Ирен. – Работаю в «Нордстроме».

– Сертифицированный, – повторяю я, думая про себя: где, интересно, находится агентство, выдающее такие сертификаты? И ставят ли специалистам по лифчикам оценки: А, В, С, D и DD? – Это, похоже, очень... редкая работа.

– Ее полные руки, – со смехом произносит Ирен. – Понимаете?

– Хм... Да.

– Я сейчас занимаюсь подгонкой бюстгалтеров, чтобы закончить учебу и взяться за настоящее дело.

– Маммографию? – высказываю предположение я.

– Нет, я хочу быть судебным репортером. В фильмах они всегда такие стильные. – Она улыбается. – Я знаю, чем вы занимаетесь. Мама рассказала мне. Вы как Хамфри Богарт.

– Не совсем. Наш отдел не Касабланка, а просто бедный приемный сынишка Министерства юстиции. Мы не спасаем Париж. У нас даже кофемашины нет. – (Ирен моргает.) – Не берите в голову.

– Сколько нацистов вы поймали?

– Довольно сложно сказать. Мы выиграли дела в суде против ста семи нацистских преступников. Шестьдесят семь из них к настоящему моменту высланы из Штатов. Но это не

шестьдесят семь из ста семи, потому что не все они были гражданами США, так что нужно быть осторожным с подсчетами. К несчастью, мало кто из тех, кого мы депортировали или передали другим странам, получил наказание, за что, я скажу, Европе должно быть стыдно. Трех обвиняемых судили в Германии, одного – в Югославии и еще одного в СССР. Из них трое были признаны виновными, один оправдан, а у одного суд отложили по медицинским показаниям, и он умер до вынесения приговора. До того как был создан наш отдел, одну нацистскую преступницу отправили из США в Европу, там ее судили и посадили в тюрьму. Сейчас у нас идет пять процессов, ведется много расследований и... У вас глаза стекленеют.

– Нет, – говорит Ирен. – Просто я ношу контактные линзы. Правда. – Она колеблется. – Но ведь те люди, которых вы преследуете... они же, наверное, все теперь глубокие старики?

– Да.

– Значит, они уже не могут так просто сбежать.

– Это не преследование в буквальном смысле, – объясняю я. – И они совершали ужасные вещи по отношению к другим людям. Такое не должно оставаться безнаказанным.

– Да, но это было так давно.

– И тем не менее не утратило важности.

– Это потому, что вы еврей?

– Нацисты уничтожали не только евреев. Они убивали

цыган, славян, гомосексуалистов, коммунистов, умственно и физически неполноценных. Все должны быть заинтересованы в том, чем занимается мой отдел. Потому что в противном случае какой сигнал подаст Америка тем, кто совершает геноцид? Что это спишется им со счетов, когда пройдет достаточно долгий срок? Они могут прятаться за нашими границами, и никто им даже по рукам не даст? Мы каждый год депортируем тысячи мигрантов, единственное преступление которых состоит в том, что они просрочили визы или приехали без правильно оформленных документов, а людям, участвовавшим в преступлениях против человечности, позволим остаться? И мирно умереть здесь? И быть похороненными на американской земле?

Я не замечаю, как разгорячился, пока сидящий за соседним столом мужчина не начинает аплодировать – размеренно и громко. Еще несколько человек в зале присоединяются к нему. Испугавшись до смерти, я съеживаюсь на стуле, пытаюсь стать невидимкой.

Ирен протягивает руку и переплетает свои пальцы с моими.

– Все в порядке, Лео. Вообще-то, я думаю, это очень сексуально.

– Что?

– То, как вы можете размахивать своим голосом, будто флагом.

– На самом деле я не большой патриот, – качаю я голо-

вой. – Просто парень, который выполняет свою работу. И я устал защищать то, что делаю. Нельзя говорить, что все это в прошлом.

– Ну вообще, что-то вроде. Я имею в виду, эти нацисты... они ведь не прячутся, а живут своей жизнью.

Несколько мгновений уходит у меня на то, чтобы сообразить: она не поняла меня. В то же время я думаю о Джозефе Вебере, который, по словам Сейдж Зингер, действительно преспокойно жил своей жизнью, оставив прошлое в прошлом.

Подходит официант с бутылкой вина и наливает его мне в бокал на пробу. Я прокатываю глоток жидкости по рту и одобрительно киваю. В тот момент, честно говоря, я бы поставил пять баллов и самогону, лишь бы в нем содержалось достаточно алкоголя.

– Надеюсь, мы не будем говорить об истории весь вечер, – весело бросает Ирен. – Потому что у меня с этим плохо. Какая разница, что Колумб открыл Америку, а не Вестхэмптон...

– Вест-Индию, – ворчу я.

– Все равно. Аборигены, наверное, были не такие злобные.

Я наполняю свой бокал, думая, доживу ли до десерта.

То ли моя мать обладает шестым чувством, то ли она вжила в меня микрочип при рождении и это позволяет ей все-

гда знать, когда я прихожу и ухожу. Это единственное, чем я могу объяснить тот факт, что она всегда безошибочно звонит ровно в тот момент, как я открываю дверь своей квартиры.

– Привет, мам, – говорю я, даже не взглянув на имя звонящего, и включаю громкую связь.

– Лео, ты что, умер бы, если бы отнесся к этой бедной девочке по-человечески?

– Эта бедная девочка вполне способна сама о себе позаботиться. И ей точно не нужен такой человек, как я.

– Ты не можешь понять, подходите ли вы друг другу, после одного неудачного обеда, – говорит мать.

– Мам, она думает, бухта Свиной<sup>15</sup> – это кусок мяса для барбекю.

– Не все имели такие возможности получить образование, как ты, Лео.

– Это проходят в одиннадцатом классе! – возражаю я. – К тому же я был очень мил с ней.

В трубке повисает пауза.

– Правда. Значит, ты был мил, когда ответил на телефонный звонок и заявил ей, что это с работы и тебе нужно идти, так как задержали Джона Диллинджера.

– В свою защиту могу сказать, что к тому моменту обед

---

<sup>15</sup> В бухте Свиной, или заливе Кочинос, в 1961 году правительство США организовало высадку десанта с целью свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе.

продолжался уже два часа, а наши тарелки с закусками еще не убрали.

– Если ты юрист, не думай, что можешь заморочить мне голову. Я твоя мать, Лео, и могу читать твои мысли маткой.

– Ладно. Во-первых, это жутко. И во-вторых, может быть, вы с Люси позволите мне отныне самому выбирать, с кем мне ходить на свидания.

– Мы с твоей сестрой хотим, чтобы ты был счастлив. Это что, преступление? – возражает она. – Плюс, если мы станем ждать, пока ты сам найдешь, с кем пойти на свидание, приглашение на свадьбу я получу у Сынов Авраамовых.

Это кладбище, на котором уже покоится мой отец.

– Отлично, – говорю я, – только не забудь оставить адрес. – Я нажимаю на клавишу «решетка» и вру: – Мне звонят.

– В такое время?

– Это эскорт-сервис, – отшучиваюсь я. – Не хочу, чтобы Персики ждали...

– Лео, ты меня в могилу сведешь, – вздыхает мать.

– Кладбище Сынов Авраамовых. Понял, – отвечаю я. – Люблю тебя, ма.

– Я полюбила тебя первой. И что мне теперь сказать своему мастеру педикюра об Ирен?

– Если она и дальше будет носить туфли на шпильках, у нее вырастут шишки на больших пальцах. – Я вешаю трубку.

Мой дом – картинка из журнала для мужчин. Столешни-

цы черного гранита, диваны обиты серой фланелью. Мебели мало, и она очень современная. На кухне голубоватая подсветка шкафов, отчего это помещение выглядит как диспетчерская по управлению полетами в НАСА. Тут хорошо чувствовал бы себя холостяк из НФЛ или корпоративный юрист. Такой вид придала моему жилищу Люси, дизайнер по интерьерам. Она сделала это, чтобы вытащить меня из ямы после развода, а потому я не могу сказать ей, что, по мне, так квартира стала выглядеть слишком стерильной. Будто я какой-то микроорганизм в чашке Петри, а не мужик, который испытывает неловкость, когда кладет ноги на черный лакированный кофейный столик.

Я стягиваю с себя галстук и расстегиваю рубашку, потом аккуратно вешаю костюм в шкаф. Откровение номер один о жизни в разводе: никто за тебя не отнесет твои вещи в химчистку. А значит, если ты бросишь их комом на пол у кровати, а работаешь каждый день до десяти вечера, дело швах.

В одних трусах и майке я включаю стереосистему – вечер вполне эллингтоновский – и достаю ноутбук.

Наверное, жизнь моя была бы более яркой, если бы я остался в Бостоне и работал в сфере корпоративного права (кто знает, может, этот декор как раз подошел бы мне). Я бы сейчас сплетничал с клиентами, вместо того чтобы читать отчет Джиневры об одном из наших подозреваемых. Бог знает, насколько больше денег я отслуживал бы к пенсии. Может, у меня даже была бы девушка по имени Персик – лежа-

ла бы, свернувшись калачиком в уголке дивана. Но что бы ни думала моя мать, я счастлив. Не могу представить, какое другое занятие доставило бы мне больше удовольствия.

Я попал на стажировку в отдел ПЧСР, когда он еще назывался ОСР – отдел специальных расследований. Мой дед, ветеран Второй мировой, всю жизнь потчевал меня историями о сражениях; в детстве моим главным сокровищем была подаренная дедом немецкая стальная каска «М35 Heer» с темным пятном внутри, которое, дед клялся, было от вылетевших мозгов. Мать, испытывая отвращение к этой штуковине, однажды ночью, пока я спал, забрала ее из моей комнаты и по сей день не раскололась, что с ней сделала. В колледже, надеясь улучшить свое резюме для поступления в Школу права, я пошел работать в ОСР – рассчитывал получить опыт в юриспруденции, который мог бы вписать в анкету. Вместо этого я приобрел страсть. Там работали увлеченные люди, которые верили в важность своего дела, что бы ни говорил Патрик Бьюкенен<sup>16</sup> о бессмысленных тратах, на которые идет правительство США ради вылавливания людей, слишком старых и не представляющих угрозы для населения.

Я окончил Гарвардскую школу права и получил несколько предложений на выбор от бостонских фирм. Та, куда я пошел, платила мне достаточно, чтобы покупать модные костюмы и обзавестись симпатичным «мустангом» с откидным

---

<sup>16</sup> Патрик Бьюкенен (р. 1938) – американский политик и публицист, главный советник американских президентов Никсона и Рейгана.

верхом, на котором я никогда не мог покататься в свое удовольствие, потому что работал как проклятый, прокладывая себе путь к позиции младшего партнера в фирме. У меня были деньги, была невеста, и девяносто пять процентов дел завершались в пользу ответчиков, которых я представлял. Но мне не хватало интереса.

Через месяц я написал главе ОСР и переехал в Вашингтон.

Да, я знаю, голова моя чаще загружена событиями 1940-х, чем 2010-х. И это правда, когда слишком много времени живешь прошлым, перестаешь двигаться вперед. Но опять же, вы не можете сказать мне, мол, то, чем я занимаюсь, никому не нужно. Если история имеет тенденцию к повторению, разве не должен кто-то задержаться в ней, чтобы предупредить об этом? Если не я, то кто?

Композиция Дюка Эллингтона завершается. Чтобы заполнить чем-то тишину, я включаю телевизор. Минут десять смотрю Стивена Кольбера, но он слишком занимателен, чтобы быть шумом на заднем плане. Я все время отрываюсь от отчета Джиневры, чтобы послушать его болтовню.

Ноутбук издает звук, оповещающий, что пришло письмо на почту. Я смотрю на экран. Джиневра.

Надеюсь, я не прерываю приятную секскападу со следующей миссис Штайн. Но на тот случай, если ты сидишь дома один и смотришь старую серию о Рин Тин Тине<sup>17</sup>, как я

---

<sup>17</sup> *Рин Тин Тин* – немецкая овчарка, известная ролями в фильмах «Зов Севера»,

подумала (не осуждай), тебе будет интересно узнать, что на имя Джозеф Вебер не нашлось никакой информации. Я проверила его вдоль и поперек, босс.

Я долго смотрю на письмо.

Сейдж Зингер я сказал, что у нее мало шансов. Не знаю, по какой причине, но Джозеф Вебер наврал ей о своем прошлом. Теперь это проблема Сейдж Зингер, не моя.

За годы работы в отделе ПЧСР я допрашивал десятки подозреваемых. Даже когда я предъявлял некоторым из них неопровержимые доказательства того, что они были охранниками в лагерях смерти, эти наглецы заявляли, мол, они понятия не имели, что там убивали людей. Они настаивали, что видели заключенных только на работах и люди эти были в нормальном состоянии. Они вспоминали, что, да, из труб валил дым и ходили слухи о сжигаемых телах, но при этом божились, что сами никогда не были свидетелями убийств и тогда не верили слухам. Избирательная память, вот как я это называю. И представьте, это полностью отличается от рассказов выживших узников, которых я опрашивал. Те описывали вонь из труб крематория: тошнотворную, едкую и сернистую, густую и жирную, больше ощущавшуюся на вкус, чем на запах. По их словам, от нее было никуда не деться, приходилось дышать этой гадостью всюду, и даже сейчас они иногда просыпаются по ночам и чувствуют запах горячей плоти.

Зебры не меняют полос на своих шкурах, и военные преступники не каются.

Меня не удивляет, что Джозеф Вебер, признавшийся в своем нацистском прошлом, оказался не нацистом. Именно этого я и ожидал. Удивительно то, как сильно мне хотелось, чтобы Сейдж Зингер оказалась права.

*Когда есть возможность отсрочить неизбежное, это всегда лучше.*

*Вот почему для хищника озверение начинается с погони за жертвой. Это не игра с едой, как думают некоторые. Это нужно для того, чтобы уровни адреналина у жертвы и преследователя сравнялись.*

*Однако наступает момент, когда ждать больше невозможно. Вы слышите, как сердце жертвы бьется у вас в голове, и это последняя сознательная мысль, которую вы будете в состоянии удержать. Как только вы поддаетесь первобытным инстинктам, то становитесь наблюдателем и смотрите, как другая часть вашего «я» пирует, раздирая плоть, чтобы добраться до амброзии. Вы упиваетесь страхом жертвы, но на вкус это похоже на восторг. У вас нет ни прошлого, ни будущего, ни сострадания, ни души.*

*Но вы знали это до того, как начали, разве нет?*

# Сейдж

Когда следующим вечером я прихожу на работу, кто-то печет на моей кухне. Это человек-бегемот ростом больше шести футов, с татуировками в стиле *маори* на предплечьях. Он отрезает куски теста и с невероятной точностью швыряет их на весы.

– Привет, – говорит он писклявым беличьим голоском, совершенно не подходящим к его наружности. – Чё как?

Разум мой – как дуршлаг, все слова, необходимые для поддержания этого разговора, просачиваются в дырки. Я так поражена, что забываю прятать свой шрам.

– Ты кто?

– Кларк.

– Что ты делаешь?

Он смотрит на стол, в стену, только не на меня.

– Булочки.

– Вряд ли. Я работаю одна.

Кларк не успевает ответить, как на кухню входит Мэри. Ее наверняка предупредил о моем появлении Рокко, который приветствовал меня перед входом в пекарню таинственным замечанием:

– Мечтала о путешествии? / Заняться вязанием? / Сейчас самое время.

– Вижу, ты уже познакомилась с Кларком. – Мэри улыба-

ется гиганту, который теперь с невероятной скоростью формирует хлеб.

Я думаю, разобрался ли он в моих заквасках? Смотрел ли таблицы? Ощущение у меня, будто кто-то покопался в моем ящике с нижним бельем.

– Кларк работал в «Кинг Артур Флор» в Норвиче, штат Вермонт.

– Хорошо. Значит, ему есть куда вернуться.

– Сейдж! Кларк здесь для того, чтобы помочь тебе. Снять часть нагрузки.

Я беру Мэри за локоть и отворачиваю, чтобы Кларк не слышал моих слов.

– Мэри, – шепчу я, – мне не нужна никакая помощь.

– Понятно, но она тебе нужна. Давай-ка мы с тобой прогуляемся.

Я борюсь со слезами и неконтролируемым порывом устроить сцену; одновременно рассержена и обижена. Да, я не вышла на работу, не поставив в известность босса, но ведь нашла себе замену. И может быть, я внесла новшества в ассортимент, не посоветовавшись с ней, но халы, которые я испекла, были влажные, сладкие и совершенные. Правда, больше всего меня расстраивает то, что я считала Мэри своей подругой, не только боссом, отчего ее политика нулевой терпимости становится еще более невыносимой.

Мэри проводит меня мимо нескольких запоздалых покупателей, которых обслуживает Рокко. Когда мы проходим

мимо кассы, я отворачиваюсь. Мэри сказала ему, что собирается избавиться от меня? Он теперь ее новое доверенное лицо в том, что касается бизнеса, вместо меня?

Я иду следом за Мэри через парковку, сквозь ворота святылища, вверх по Святой лестнице, пока мы не оказываемся в гроте, где Джозеф сообщил мне, что он бывший нацист.

– Ты увольняешь меня? – выпаливаю я.

– С чего ты взяла?

– О, я не знаю. Может, с того, что Мистер Пропер на моей кухне готовит мои булочки. Не могу поверить, что ты променяла меня на какого-то дрона с фабрики...

– «Кинг Артур Флор» не фабрика, и Кларк не замена тебе. Он здесь только для того, чтобы дать тебе возможность маневра. – Мэри садится на гранитную скамью. Глаза у нее пронзительно-голубые, и в них – все ее монашеское прошлое. – Я только пытаюсь помочь, Сейдж. Не знаю, что это – стресс, чувство вины или еще что, но в последнее время ты сама не своя. Ты стала эксцентричной.

– Я по-прежнему выполняю свою работу. Выполняла, – протестую я.

– Вчера ты испекла двести двадцать хал.

– Ты попробовала хотя бы одну? Поверь мне, лучше покупатели нигде не найдут.

– Но им придется идти в другое место, если они захотят ржаного хлеба. Или квасного. Или обычного белого. Или любого другого, который ты решила не печь. – Голос Мэри ста-

новится мягким, как мох. – Я знаю, Сейдж, что это ты уничтожила Иисусов Хлеб.

– О, ради бога...

– Я молилась об этом. Этот хлеб должен был спасти кого-то, а теперь я понимаю, что этот человек – ты.

– Это из-за того, что я прогуляла работу? – спрашиваю я. – Мне нужно было навестить бабушку. Она неважно себя чувствует.

Удивительно, как быстро я выдумала лживое объяснение. Слои лжи ложатся, как краска, один на другой, пока вы не забываете, с какого цвета начали.

Может быть, Джозеф действительно стал верить, что он такой, каким его все считают. И именно это в конце концов заставило старика сказать правду.

– Посмотри на себя, Сейдж, ты же за миллион миль отсюда. Ты хотя бы слушаешь меня? Ты ужасно выглядишь. Волосы – будто в них птицы свили гнездо; душ ты сегодня, похоже, не принимала; под глазами круги такие темные, будто у тебя почечная недостаточность. Ты жжешь свечку с двух концов, по ночам работаешь здесь, а днем прелюбодействуешь с этим... – Мэри хмурится. – Как назвать проститутку мужского пола?

– Жиголо. Слушай, я знаю, мы с тобой разного мнения об Адаме, но ты же не стала отчитывать Рокко, когда он спросил, чем лучше всего удобрять коноплю?

– Если бы он был под кайфом на работе, то отчитала бы, –

упирается Мэри. – Можешь мне не верить, но я не считаю тебя аморальной из-за того, что ты спишь с Адамом. Вообще, я думаю, в глубине души тебя это беспокоит так же сильно, как меня. И может быть, именно эта тревога так сильно влияет на твою жизнь, что это сказывается на работе.

Я хохочу. Да, я одержима мыслями о мужчине. Только ему за девяносто.

Вдруг у меня в голове загорается мысль, робкая, как трепещущий крыльями ночной мотылек: а что, если сказать ей? Разделить с кем-нибудь эту ношу, которую я таскаю на себе, – признание Джозефа?

– Ладно, я действительно была немного расстроена. Но это не из-за Адама. А из-за Джозефа Вебера. – Я смотрю Мэри в глаза. – Я узнала о нем кое-что. Кое-что ужасное. Он нацист, Мэри.

– Джозеф Вебер? Тот, которого я знаю? Который всегда оставляет чаевые в двадцать пять процентов и отдает половину булочки собаке? Джозеф Вебер, которому в прошлом году дали премию Торговой палаты «Добрый самаритянин»? – Мэри качает головой. – Вот об этом я и говорю, Сейдж. Ты переутомилась. Твой мозг поджигает не тот цилиндр. Джозеф Вебер – милый старик, которого я знаю долгие годы. Если он нацист, дорогая, то я Леди Гага.

– Но, Мэри...

– Ты еще кому-нибудь говорила об этом?

Я сразу вспоминаю про Лео Штайна и вру:

– Нет.

– Вот и хорошо, а то я не знаю молитвы за клеветников.

У меня такое чувство, будто весь мир смотрит в телескоп не с того конца и только я одна способна видеть четко.

– Это не я обвиняю Джозефа, – говорю в отчаянии, – он сам мне сказал.

Мэри надувает губы:

– Несколько лет назад ученые перевели древний текст, который считали Евангелием от Иуды. Они заявили, что информация, поданная с точки зрения Иуды, перевернет христианство с ног на голову. Иуда, оказывается, вовсе не величайший предатель в мире, а тот единственный, кому Иисус поручил выполнить миссию. Вот почему Иисус, зная, что умрет, выбрал Иуду и доверился ему.

– Значит, ты мне веришь!

– Нет, – сухо отвечает Мэри. – Не верю. Как не верю этим ученым. Потому что тысячи лет истории говорят мне, что Иисуса, который, между прочим, был хорошим парнем, Сейдж, совсем как Джозеф Вебер, предал Иуда.

– История не всегда права.

– Но с нее приходится начинать в любом случае. Если не знать, откуда ты родом, как же, ради всего святого, определить, куда ты идешь?! – Мэри заключает меня в объятия. – Я делаю это, потому что люблю тебя. Иди домой. Отсыпайся неделю. Сходи на массаж. Прогуляйся в горы. Прочисти голову. А потом возвращайся. Твоя кухня будет ждать тебя.

Я нахожусь в опасной близости к слезам.

– Прошу тебя, – молящим голосом говорю я, – не отнимай у меня работу. Это единственное в жизни, что я не испортила.

– Я ничего у тебя не отнимаю. Это по-прежнему твой хлеб. Я возьму с Кларка обещание, что он будет пользоваться твоими рецептами.

Я думаю о надрезах на хлебе.

В те времена, когда существовали общественные печи, люди приносили свое тесто из дому и пекли хлеб вместе с остальными жителями деревни. Как же они определяли, какой хлеб чей, когда вынимали их из печи? По надрезам, сделанным каждой хозяйкой. Когда надрезаешь подготовленный к выпечке хлеб, это подсказывает ему, в каком месте раскрываться, и помогает формированию внутренней структуры – дает пространство для разбухания теста. Но это также позволяет пекарю поставить на хлебе свой фирменный знак. Я, к примеру, всегда надрезаю багет пять раз и самым длинным делаю надрез на одном конце.

Кларку это невдомек.

Едва ли наши покупатели обращают внимание на такую мелочь, но это моя подпись. Моя печать на каждом хлебе.

Мэри спускается по Святой лестнице, а я задумываюсь: не в том ли кроется еще одна причина того, что Джозеф Вебер выбрал меня своим исповедником? Если прячешься достаточно долго, живешь, как призрак, среди людей, то можешь

исчезнуть навеки и никто не заметит. Люди стремятся оставить свой след в жизни и хотят, чтобы кто-то увидел его. Такова человеческая природа.

– Не понимаю, что на тебя нашло сегодня, – говорит Адам, когда я скатываюсь с него и лежу, уставившись в потолок. – Но я чертовски благодарен тебе.

Я бы не назвала то, что мы сейчас делали, занятием любовью. Это, скорее, была попытка забраться под кожу Адама, просочиться в него, как вода через мембрану в осмотической системе. Мне хотелось раствориться в нем целиком, без остатка.

Провожу пальцами по его груди:

– Тебе не показалось, что я изменилась в последнее время?

– Да, – усмехается Адам, – особенно в последние полчаса. Но я полностью одобряю это обновление. – Он смотрит на часы. – Мне нужно идти.

Сегодня Адам руководит похоронами в традициях японского буддизма, ему пришлось провести целое исследование, чтобы не сплеховать и соблюсти все обычаи. Девяносто девять и девять десятых процента японцев кремируют, включая и того покойника, которого Адам будет обслуживать сегодня. Вчера были поминки.

– Ты не можешь побыть еще немного? – прошу его я.

– Нет, у меня уйма работы. Боюсь что-нибудь напутать.

– Ты кремировал сотни людей, – замечаю я.

– Да, но сегодня все должно быть по-японски. Вместо того чтобы просто смолоть оставшиеся кости, как мы делаем обычно, тут будет особый ритуал. Члены семьи возьмут по кусочку костей специальными палочками и положат их в урну. – Он пожимает плечами. – К тому же тебе нужно выспаться. Осталось всего несколько часов, и снова настанет время идти делать пончики.

Я натягиваю одеяло до подбородка.

– Вообще-то, у меня несколько дней отпуска, – сообщаю я так, будто это была моя идея. – Протестирую новые рецепты. Посчитаю, сколько чего нужно.

– А что Мэри будет продавать, если ты здесь?

– Меня подменяет один парень, – отвечаю я, снова удивляясь, как легко ложь уместается у меня во рту и как мало оставляет послевкусия. – Кларк. Думаю, он справится. Но это означает, что я буду жить, как обычный человек, в нормальное время. Так что, знаешь, ты можешь как-нибудь переночевать у меня. Будет очень приятно заснуть рядом с тобой.

– Ты все время засыпаешь рядом со мной, – замечает Адам.

Но это другое. Он дожидается, пока я отключусь, как свет, после чего принимает душ и на цыпочках уходит из дому. Мне хочется того, что другие люди воспринимают как должное: почувствовать, как ночь арканом затягивается вокруг

нас, спросить: «Ты не забыл поставить будильник?», сказать: «Напомни мне, что нужно купить зубную пасту». Чтобы наше время вдвоем не было до предела заряжено романтикой, а превратилось в обыденность.

Я обхватываю Адама руками и утыкаюсь носом ему в шею:

– Разве не здорово будет притвориться, что мы пожилая супружеская пара?

Он выпутывается из моих объятий:

– Мне не нужно притворяться, – встает с постели и идет в ванную.

Обязательно было напоминать? Я жду, пока польется вода, откидываю одеяло и отправляюсь на кухню. Наливаю себе стакан апельсинового сока и сажусь за ноутбук. На экране – таблица, которой я пользовалась, чтобы готовить опару, когда впервые вернулась домой из пекарни. Пусть я сейчас не работаю в «Хлебе нашем насущном», но разве я не могу заняться улучшением своих рецептов на собственной экспериментальной кухне.

Опара бродит на рабочем столе. Нужно еще несколько часов, прежде чем ее можно будет использовать, но на ней уже образовалась пена, как на кружке пива. Я сворачиваю таблицу и открываю YouTube в браузере.

Наверное, я такая же, как многие другие двадцатипятилетние в этой стране. Отрывочные знания о Второй мировой войне я получила на уроках истории в старшей школе, мое

представление о Холокосте сформировано заданными для прочтения дома книгами: «Дневник Анны Франк» и «Ночь» Эли Визеля. Даже зная, что тут есть личная связь с моей бабушкой, а может, именно из-за этого, я была склонна смотреть на Холокост абстрактно, так же как на рабство: серия каких-то жутких событий, произошедших давным-давно в мире, сильно отличавшемся от того, где я жила. Да, это было ужасное время, но какое отношение оно имеет ко мне?

Я набираю «нацистский концлагерь» в поисковой строке, и экран заполняют крошечные картинки: остроносое лицо Гитлера, мешанина трупов в яме, сарай, до стропил забитый обувью. Выбираю видеоролик – новостная хроника 1945 года, после освобождения. Пока он грузится, читаю комментарии внизу:

**ХОЛОКОСТ – ВЫДУМКА. НА ХРЕН ЕВРЕЕВ.**

**ФЕЙКОВОЕ ДЕРЬМО ХОЛОКОСТ. ЕВРЕЙСКИЕ ВРАКИ.**

Ферма моего дяди была там, и Красный Крест хвалил состояние лагеря. Читайте отчет.

Да пошел ты, нацистская свинья! Хватит скулить, пора признавать правду.

Полагаю, свидетели тоже лжецы?

Это продолжает происходить повсюду в мире, пока мы отводим глаза, как немцы 70 лет назад. Мы ничему не научились.

Я кликаю куда-то в середину фильма, длящегося пятьде-

сят семь минут. Понятия не имею, какой лагерь мне показывают, но вижу тела, сложенные штабелями у крематория, зрелище жутчайшее, почти невозможно поверить, что это не голливудская постановка и я вижу реальных людей, у которых кости так сильно выпирают наружу, что можно увидеть весь скелет под кожей; что лицо с выбитым глазом принадлежало человеку, у которого когда-то были жена, семья, другая жизнь. «Это место, где уничтожали трупы», – звучит голос за кадром. В печах сжигали более ста тел в день. Вот носилки, на которых трупы засовывали внутрь, как я пекарской лопатой ставлю крестьянский хлеб в нутро своей дровяной печи. Вижу мелькнувший на экране скелет в топке одной из печей; еще один – превратившийся в кучу фрагментов костей. Вижу табличку с гордым именем производителя печи: «Topf & Söhne».

Я думаю о клиентах Адама, которые вытаскивают кости своих любимых из кучки пепла.

Потом вспоминаю бабушку, и к горлу подкатывает тошнота.

Хочется выключить компьютер, но я не могу шевельнуться. А вместо этого смотрю на группы немцев в нарядной воскресной одежде, их приводят в лагерь, они улыбаются, будто пришли на праздник. Потом лица их меняются, мрачнеют, некоторые люди даже начинают плакать, когда им проводят экскурсию по лагерю. Я наблюдаю за веймарскими бизнесменами в костюмах, которых заставили переносить и за-

хоранивать трупы.

Эти люди, вероятно, знали о происходящем, но не признавались в этом самом себе. Или закрывали глаза, лишь бы их самих не принудили участвовать в преступлении. Я была бы такой же, если бы проигнорировала признание Джозефа.

– Так что? – говорит Адам, входя на кухню; волосы у него еще мокрые после душа, галстук уже завязан. Он гладит меня по плечам. – В то же время в среду?

Я захопываю крышку ноутбука и слышу свой ответ:

– Может быть, нам лучше сделать перерыв.

Адам удивленно смотрит на меня:

– Перерыв?

– Ага. Думаю, мне нужно немного побыть одной.

– Разве ты не просила меня пять минут назад вести себя так, будто мы женаты?

– И ты не сказал мне пять минут назад, что уже женат?

Я обдумываю слова Мэри о том, что связь с Адамом, возможно, беспокоит меня больше, чем я готова признать. А ведь верно: нужно стоять за то, во что веришь, а не отрицать очевидное.

Адам явно потрясен, но быстро справляется с изумлением.

– Не спеши, детка, думай, сколько тебе нужно. – Он целует меня так нежно, что это ощущается как обещание, как мольба. – Только помни, – шепчет он, – никто и никогда не будет любить тебя так, как я.

После ухода Адама меня потрясает мысль, что его слова можно воспринять как клятву верности или как угрозу.

Вдруг я вспоминаю девочку, которая вместе со мной ходила на курс по истории мировых религий в колледже, японку из Осаки. Когда мы изучали буддизм, она говорила о коррупции: сколько денег ее родным пришлось заплатить священнику за каймё – обряд наречения покойника новым именем, под которым тот отправится на Небо. Чем больше вы платите, тем длиннее будет его посмертное имя и тем больше почета обретет ваша семья. «Вы думаете, это важно для буддистов в потусторонней жизни?» – спросил профессор.

«Вероятно, нет, – ответила девушка. – Но новое имя не дает вам возвращаться в этот мир всякий раз, как кто-нибудь произнесет ваше старое».

Запоздалая мысль приходит в голову: надо было рассказать этот анекдот Адаму.

Полагаю, анонимность всегда стоит денег.

Звонок телефона обрывает мой ночной кошмар: стоя на кухне позади меня, Мэри говорит, что я слишком медленно работаю. Я леплю булки и сую их в печь так быстро, что у меня на пальцах появляются кровавые мозоли и кровь запекается в тесто, но каждый раз, вынимая готовый хлеб, я достаю вместо него выбеленные, как паруса корабля, кости. «Вовремя», – с укором говорит Мэри, и не успеваю я остановить ее, как она берет один багет палочками для еды и впивается

в него зубами, они ломаются и мелким жемчугом сыплются мне под ноги.

Я так глубоко сплю, что, хотя и тянусь к телефону и говорю: «Алло», роняю его, и он отлетает под кровать.

– Простите, – говорю я, вытащив мобильник. – Алло?

– Сейдж Зингер?

– Да, это я.

– Это Лео Штайн.

Резко пробудившись, я сажусь в постели.

– Простите.

– Вы уже это говорили... Я что... У вас такой голос, будто я вас разбудил.

– Ну да.

– Тогда извиняться нужно мне. Я подумал, раз уже одиннадцать часов...

– Я пекарь, – обрываю я его, – работаю по ночам, а сплю днем.

– Вы можете перезвонить мне в более удобное время...

– Просто скажите мне. Что вы нашли?

– Ничего, – отвечает Лео Штайн. – В реестре членов СС нет никаких сведений о Джозефе Вебере.

– Значит, допущена какая-то ошибка. Вы пробовали разные написания имени?

– Мой историк работает очень тщательно, мисс Зингер. Мне очень жаль, но вы, вероятно, неправильно поняли его слова.

– Я все поняла правильно. – Я убираю волосы с лица. – Вы же сами говорили, что картотека неполна. Или, может, вы просто еще не нашли нужную запись?

– Это возможно, но без подтверждения имени мы действительно ничего больше не сможем предпринять.

– Но вы продолжите розыски?

По голосу слышно, что он мнется, понимает: я прошу его найти иголку в стоге сена.

– Я не знаю, как остановиться, – говорит Лео. – Мы проведем проверку по двум берлинским архивам и по нашей собственной базе данных. Но это будет конечной точкой, если не найдется никакой достоверной информации...

– Дайте мне время до обеда, – молю я.

В конце концов, именно то, как я познакомилась с Джозефом – на группе скорби, – заставляет меня задуматься: а может, Лео Штайн прав и Джозеф действительно обманул меня. Прожил же он с Мартой пятьдесят два года. Хранить тайну столько времени чертовски трудно.

Дождь льет как из ведра, когда я подъезжаю к дому Джозефа, а зонта у меня нет. Успеваю промокнуть насквозь, пока добегаю до крыльца. Ева лает почти полминуты, прежде чем ее хозяин открывает дверь. У меня двоится в глазах. Это не помутнение зрения, а наложение этого старика на более молодого и сильного мужчину, одетого в военную форму, как в фильме на YouTube.

– Ваша жена, – с порога говорю я, – она знала, что вы нацист?

Джозеф открывает дверь шире:

– Входите. Такой разговор не стоит вести на улице.

Я прохожу за ним в гостиную, где на шахматной доске – наша незаконченная партия, единороги и драконы замерли на своих местах после моего последнего хода.

– Я ей никогда не говорил, – признается Джозеф.

– Это невозможно. Она наверняка интересовалась, чем вы занимались во время войны.

– Я сказал, что родители отправили меня в Англию учиться в университете. Марта никогда не сомневалась в этом. Вы удивитесь, как далеко люди готовы зайти, чтобы верить в лучшее о тех, кого по-настоящему любят.

Это, разумеется, наводит меня на мысли об Адаме.

– Должно быть, это нелегко, Джозеф, – холодно говорю я, – не запутаться в собственной лжи.

Мои слова сыплются как удары. Джозеф весь сжимается в своем кресле:

– Именно поэтому я сказал вам правду.

– Но... это неправда, верно?

– О чем вы?

Я не могу сказать, что знаю: он обманул меня, так как охотник за нацистами из Министерства юстиции проверил его вымышленную историю.

– Просто одно с другим не сходится. Жена, которая за

пятьдесят два года ни разу не наткнулась на правду. История о том, что вы чудовище, без всяких доказательств. Разумеется, самое несообразное тут то, что больше чем через шестьдесят пять лет вы срываете с себя маску.

– Я же сказал вам. Я хочу умереть.

– Почему сейчас?

– Потому что мне не для кого больше жить. Марта была ангел. Она видела во мне хорошее, когда мне глядеть на себя в зеркало было противно. Я так хотел быть тем мужчиной, за которого, по мнению Марты, она вышла замуж, что стал им. Если бы она знала, что я сотворил...

– То убила бы вас?

– Нет, – отвечает Джозеф. – Она убила бы себя. Мне было все равно, что случится со мной, но я не мог вынести мысли, каким ударом это станет для нее – узнать, что ее касались руки, которые никогда не будут по-настоящему чистыми. – Старик глядит на меня. – Я знаю, Марта теперь на Небесах. Я обещал себе, что буду таким, каким она хотела меня видеть, пока она жива. Но вот ее нет, и я пришел к вам. – Джозеф зажимает кисти рук между коленями. – Смею ли я надеяться, это означает, что вы обдумываете мою просьбу?

Он говорит официальным тоном, будто попросил меня составить ему пару на танцевальном вечере или сделал мне какое-то деловое предложение.

Уходя от прямого ответа, я набрасываюсь на него:

– Вы понимаете, что это чистый эгоизм с вашей стороны?

Я должна рискнуть своей свободой. Вообще-то, вы хотите, чтобы я загубила свою жизнь ради того, чтобы вы могли свести счеты со своей.

– Не в том дело. Никто ничего не заподозрит, если какой-то старикашка загнется.

– Убийство – это преступление, на случай если вы забыли за прошедшие шестьдесят восемь лет.

– Ах, но, видите ли, именно поэтому я ждал кого-то вроде вас. Если вы сделаете это, то совершите акт милосердия, а не убийство. – Он смотрит мне в глаза. – Знаете, Сейдж, прежде чем вы поможете мне умереть, я хочу попросить вас еще об одном одолжении. Я прошу вас сначала простить меня.

– Простить вас?

– За то, что совершил тогда.

– Не у меня вы должны просить прощения.

– Да, – соглашается он. – Но они все мертвы.

Шестеренки медленно вращаются, пока в голове у меня не складывается четкая картинка. Теперь я понимаю, почему он избрал меня для своей исповеди. Джозеф не знает про мою бабушку, а большей еврейки, чем я, ему в этом городке не найти. Я тут вместо родственников жертвы, ожидающих вынесения смертного приговора преступнику. Есть у них право требовать справедливого суда? Мои прадедушка и прабабушка погибли от рук нацистов. Делает ли это меня, по доверенности, подходящей для роли мстителя?

В голове эхом отдаются слова Лео: «Я не знаю, как оста-

новиться». Его работа – мщение? Или правосудие? Различие между тем и другим минимально, и, когда я пытаюсь сосредоточиться на нем, оно становится все менее четким.

Раскаяние может принести умиротворение убийце, но как насчет жертвы? Я, может, и не считаю себя еврейкой, но неужели я все равно несу ответственность за своих родственников, которые были религиозны и погибли из-за этого?

Джозеф обратился ко мне, так как считает меня другом. Потому что он в меня верит. Но если просьбы Джозефа оправданны, человек, с которым я подружилась и которому доверяла, – кукла из театра теней, игра воображения.

Я чувствую себя глупо, надо было мне лучше разбираться в людях.

В тот момент я даю себе обещание: я узнаю доподлинно, был ли Джозеф Вебер эсэсовцем. И если все-таки был, то, как именно он умрет, решу я сама. Я обману его, как он обманывал других. Я выжму из него информацию и скормлю ее Лео Штайну, так что Джозеф сдохнет в камере.

Но ему об этом знать незачем.

– Я не могу простить вас, – спокойно говорю я, – пока не узнаю, что вы сделали. Прежде чем я соглашусь на что-нибудь, вы должны как-то подтвердить свое прошлое.

На лице Джозефа отображается облегчение, едва ли не осязаемое, почти болезненное. Глаза его наполняются слезами.

– Фотография...

– Ничего не значит. Насколько я могу судить, на ней вообще не вы. Или она куплена на *eBay*.

– Понимаю. – Джозеф смотрит на меня. – Значит, прежде всего, вам нужно узнать мое настоящее имя.

Если Джозефа удивляет, что я вскакиваю и прошу его показать, где туалет, он не подает виду. Спокойно проводит меня по коридору в маленькую уборную с обоями в крупных розах и маленьким блюдом с несколькими кусками фигурного мыла в прозрачных обертках, так и не снятых.

Я включаю воду в раковине и вынимаю из кармана мобильник.

Лео Штайн отвечает после первого же гудка.

– Его зовут не Джозеф Вебер, – задыхаясь от волнения, говорю я.

– Аллю?

– Это я, Сейдж Зингер.

– Почему вы шепчете?

– Потому что прячусь в уборной у Джозефа.

– Я так и думал, что его зовут не Джозеф...

– Да. Его имя Райнер Хартманн. С двумя «эн» на конце.

И еще я знаю дату его рождения. Двадцатое апреля тысяча девятьсот восемнадцатого. «В один день с фюрером», – сказал он.

– Значит, ему девяносто пять, – подсчитывает в уме Лео.

– Кажется, вы говорили, для них не существует срока дав-

ности.

– Верно. Девяносто пять – это лучше, чем покойник. Но откуда вы знаете, что он не врет?

– Я этого не знаю. Но вы узнаете. Введите его в базу данных, и посмотрим, что получится.

– Это не так просто...

– Это не может быть так уж сложно. Где ваш историк? Попросите ее.

– Мисс Зингер...

– Слушайте, я сижу в уборной у старика. Вы говорили, что с именем и датой рождения карточку легче найти.

Он вздыхает:

– Посмотрим, что я могу сделать.

В ожидании ответа я спускаю воду. Два раза. Я уверена, что Джозеф, или Райнер, или как там его теперь называть, размышляет, не провалилась ли я в унитаз, а может, он решил, что я мою голову в раковине.

Минут через десять я слышу голос Лео:

– Райнер Хартманн был членом нацистской партии.

Я ощущаю странную эйфорию, понимая, что дело пошло, и в то же время свинцовую тяжесть в груди, ведь слова Лео означают, что стоящий за дверью человек замешан в массовых убийствах. Я выпускаю глубокий вздох.

– То есть я была права.

– Его имя нашлось в материалах Берлинского архива, да, но это не означает, что мы можем прижать старика, – говорит

Лео. – Это только начало.

– А что будет дальше?

– Там увидим, – отвечает Лео. – Что еще вы можете узнать?

*Мне как будто ножом по горлу резанули.*

*Я услышала, как разрывается моя кожа; ощутила, как кровь, липкая и горячая, капает на грудь. Он снова бросился на меня, нацелившись на голосовые связки. А я могла только ждать следующего укуса острых как бритва клыков, зная, что он непременно будет.*

*Мне рассказывали легенды про упырей, которые восставали из мертвых и разрывали свои саваны в поисках крови, которая поддержит их существование, потому что своей у них нет. Они были ненасытны. Я знала легенды, но теперь убедилась, что они правдивы.*

*Он не кусал меня, не пил кровь, а пожирал мою плоть и довел до грани смерти, по которой сам ускользнул в бессмертие. Вот, значит, какой он, ад – протяжный беззвучный крик. Нет сил пошевелиться, нет сил подать голос. Зато другие мои чувства обострились: осязание, обоняние и слух, пока он раздирал мою плоть. Он ударил меня головой оземь: один раз, второй. У меня закатились глаза, и тьма упала, как нож гильотины...*

*Вдруг я резко проснулась и села, обливаясь потом. Щека у меня в муке, я уснула, положив голову на рабочий стол,*

в ожидании, пока подойдет тесто. Но этот стук все еще звучал у меня в голове. Я схватилась за горло – о, какое счастье! – оно цело, и снова услышала, как кто-то стучит в дверь дома.

На пороге стоял мужчина с золотистыми глазами, его силуэт вырисовывался в свете луны.

– Я мог бы печь для вас, – сказал он низким мягким голосом. С акцентом.

Мне стало интересно, откуда он родом.

Я не до конца проснулась и не поняла его.

– Меня зовут Александр Лубов, – произнес мужчина. – Я видел вас в деревне. Я знаю о вашем отце. – Он посмотрел поверх моего плеча на багеты, завернутые в полотно, стоящие, как солдаты в строю. – Днем мне нужно следить за братом. У него с головой непорядок, и он может навредить себе, если останется один. Но мне нужна работа, которую я мог бы делать по ночам, пока брат спит.

– А когда будете спать вы? – задала я первый вопрос, который стрелой пронзил туман в моей голове.

Он улыбнулся, и у меня от этого перехватило дыхание.

– А кто говорит, что я сплю?

– Я не могу платить вам...

– Я возьму то, что вы можете мне дать, – ответил он.

Тут я поняла, как сильно устала. Подумала, что сказал бы отец, если бы я пустила в пекарню чужака. Вспомнила Дамиана и Баруха Бейлера и то, чего они оба от меня хоте-

ли.

*Говорят, безопаснее с бесом, которого знаешь, чем с незнакомым. Мне ничего не известно об Александре Лубове. Так зачем соглашаться на его предложение?*

*– Затем, – сказал он, будто прочел мои мысли, – что я вам нужен.*

# Джозеф

Я не отзовусь на другое имя. Этот человек – мне хотелось бы думать, что я никогда им не был.

Но это неправда. Внутри каждого из нас сидит чудовище, внутри каждого – святой. Вопрос в том, кого из них мы больше пестуем, который из двух сразит другого.

Чтобы понять, кем я стал, вам нужно знать, откуда я родом. Моя семья, мы жили в Вевельсбурге, это часть города Бюрена в районе Падерборн. Мой отец был механиком, а мать – домохозяйкой. Мое самое раннее воспоминание о том, как отец и мать ссорятся из-за денег. После Первой мировой цены росли не по дням, а по часам. Сбережения, которые они усердно откладывали долгие годы, внезапно обесценились. Отец только что забрал из банка деньги, которые копил десять лет, а теперь этой суммы не хватало даже на то, чтобы купить газету. Чашка кофе стоила пять тысяч марок. Буханка хлеба – двести миллионов марок. Мальчиком, помню, я бегал вместе с матерью встречать отца в день получки, а потом начиналась бешеная скачка по магазинам за продуктами. Часто там было пусто. Тогда нас с Францем, это мой младший брат, посылали в сумерках в сады фермеров трясти яблоки с деревьев или воровать картошку с полей.

Разумеется, не все так пострадали. Кто-то успел вложиться в золото. Кто-то спекулировал тканями, мясом, мылом

или продуктами. Но большинство обычных немецких семей, вроде моей, потерпели полный крах. Веймарская республика, воссиявшая после войны, как новая звезда, оказалась катастрофой. Мои родители все делали правильно – упорно трудились, накапливали сбережения, и чего ради? Выборы за выборами, и никто, казалось, не мог дать ответа.

Я рассказываю вам это, потому что все вечно спрашивают: как могли нацисты прийти к власти? Как мог Гитлер так свободно править? Что ж, я скажу вам: отчаявшиеся люди часто совершают такие вещи, которых при обычных условиях не совершили бы. Если вы обратитесь к врачу и он скажет, что у вас неизлечимая болезнь, то вы, вероятно, покинете его кабинет сильно подавленным. Но если вы поделитесь этой новостью с приятелем и он скажет вам: «Знаешь, у меня есть друг, которому поставили такой же диагноз, и доктор X поднял его на ноги», то я могу поспорить, вы мигом кинетесь звонить ему, хотя, может, он величайший шарлатан, этот доктор X, или берет по два миллиона долларов за консультацию. Не важно, насколько вы образованны, не важно, какой чушью это кажется, вы ухватитесь за лучик надежды.

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия была таким лучиком надежды. Ничто больше не могло исправить положение дел в стране. Так почему бы не попробовать это? Они обещали дать людям работу, избавиться от Версальского договора, вернуть утраченные после войны земли, снова поставить Германию на достойное место.

Когда мне было пять лет, Гитлер попытался захватить власть в пивной – Мюнхенский путч – и с треском провалился, по мнению большинства. Но он понял, что совершить переворот нужно не насильственным путем, а законным. И во время процесса над ним в 1924 году каждое его слово попадало в немецкие газеты, что стало первым пропагандистским натиском Национал-социалистической партии.

Вы заметили, что я ни слова не говорю о евреях? Это потому, что большинство из нас не были знакомы ни с одним. Из шести миллионов жителей Германии только пятьсот тысяч были евреями, и даже они называли себя немцами, а не евреями. Но антисемитизм процветал в Германии задолго до того, как Гитлер обрел влияние. Нас учили в церкви, что две тысячи лет назад евреи убили нашего Господа. Нелюбовь к евреям отражалась и в том, как мы относились к их способности с выгодой для себя вкладывать деньги во время экономического спада, когда ни у кого больше средств на инвестиции не было. Внедрить в головы людей мысль, что во всех бедах Германии виноваты евреи, было нетрудно.

Любой военный скажет вам, что объединить разобщенную группу людей можно, указав им на общего врага. Именно это и сделал Гитлер, придя к власти в 1933 году в качестве канцлера. Он вплел свою философию в идеологию Нацистской партии, направляя обличительную критику на тех, кто склонялся влево в политике. Нацисты указывали на связь евреев с левыми, евреев – с преступностью, евреев – с отсут-

ствием патриотизма. Если люди и без того уже ненавидели евреев по религиозным или экономическим причинам, подкинуть им еще один повод для нетерпимости не составляло труда. Так что, когда Гитлер сказал, что наибольшая угроза немецкому государству – это покушение на чистоту крови немцев, что ж, это дало нам новый повод для гордости. Угроза со стороны евреев просчитывалась математически. Они смешаются с этническими немцами, чтобы повысить свой статус, и, делая это, подточат доминирование германской нации. Нам, немцам, было необходимо Lebensraum – жизненное пространство, чтобы остаться великим народом. А как расширить территории? Выбор невелик: вы либо начинаете войну, чтобы захватить новые земли, либо избавляетесь от людей, угрожающих Германии и не являющихся этническими немцами.

К 1935 году, когда я уже был молодым человеком, Германия вышла из Лиги Наций. Гитлер заявил, что Германия будет воссоздавать армию, хотя это было ей запрещено после Первой мировой войны. Конечно, если бы какая-нибудь другая страна – Франция, Англия – вмешалась и остановила его, того, что случилось, могло бы не произойти. Но кому хотелось так скоро снова ввязываться в войну? Проще было объяснить события рационально, сказать, мол, Гитлер возвращает себе то, что раньше принадлежало Германии. А тем временем в моей стране снова появилась работа – на фабриках военного снаряжения, оружейных и авиационных

заводах. Люди зарабатывали не так много денег, как раньше, и трудились дольше, но они могли содержать свои семьи. К 1939 году немецкое Lebensraum распространилось за Саар, в Рейнскую область, Австрию, Судеты и Чехию. И наконец, когда немцы вошли в польский Данциг, Англия и Франция объявили войну.

Я расскажу вам немного о своем детстве. Мои родители отчаянно хотели, чтобы их дети жили лучше, чем они сами, и полагали, что путь к этому открывает образование. Разумеется, люди, обученные тому, как лучше вкладывать деньги, не окажутся в отчаянном финансовом положении. Хотя я не был особенно умным, родители хотели, чтобы я поступил в гимназию и получил самое академическое образование из всех возможных в Германии, так как выпускники гимназии, как правило, поступали в университет. Само собой, оказавшись в гимназии, я все время либо дрался, либо паясничал, лишь бы скрыть тот факт, что мне эта учеба была не по зубам. Родителей каждую неделю вызывали к директору, потому что я проваливал очередную контрольную или доходил до кулаков в споре по мельчайшему поводу с кем-нибудь из учеников.

К счастью, у родителей была другая звезда, на которую они могли возлагать надежды, – мой брат Франц. Двумя годами моложе меня, он отличался усердием в учебе, вечно сидел, уткнувшись носом в книгу, да калякал что-то в блокнотах, которые прятал под матрасом, а я вытаскивал их и

дразнил его. Блокноты эти наполнились образами, которых я не понимал: тело девушки, утопившейся в пруду от несчастной любви; изголодавшийся олень роется в снегу в поисках желудя; огонь, загоревшийся в душе и поглощающий тело; постель и окружающий ее дом. Он мечтал изучать поэзию в Гейдельберге, и родители грезили о том же.

А потом начались перемены. В гимназии устроили конкурс: какой класс первым – до последнего ученика – запишется в Гитлерюгенд. Заметьте, в 1934 году членство в Гитлерюгенде еще не было обязательным. Это был общественный клуб, как бойскауты, за исключением того, что мы приносили клятву верности Гитлеру как его будущие солдаты. Под руководством взрослых мы встречались после уроков и ходили в походы на выходных. Мы носили форму, похожую на эсэсовскую, с руной «Зиг» на лацкане. В пятнадцать лет мне трудно было усидеть за партой, а бегать по улице я любил и весьма успешно выступал на спортивных соревнованиях. У меня сложилась репутация хулигана, не всегда оправданная, – в половине случаев я расквашивал кому-нибудь нос за то, что он обзывал Франца девчонкой.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.